

## ЛИТЕРАТУРА

Д. С. Лихачев

**Л**итературное и культурное развитие древней Руси X—XIII вв. восстанавливается неполно. О нем приходится судить по разрозненно сохранившимся произведениям, значительно искаженным позднейшими переписками и переделками. Только случаю обязаны мы сохранением таких значительных памятников, как Слово о полку Игореве и Поучение Владимира Мономаха. Летопись XI—XII вв. дошла до нас лишь в позднейших списках, из которых древнейшие: I Новгородская в Синодальном списке — конца XIII в., Лаврентьевская — 1377 г. и Ипатьевская — начала XV в. Очень многое от древнерусской светской литературы до нас не дошло. Исчезла, например, целиком дружинная поэзия Киевской Руси; незначительные следы оставил, как мы видели, фольклор; уничтоженной оказалась литература Галицко-Волынской области, отрывки летописи которой свидетельствуют об ее высоком литературном развитии. Естественно поэтому, что наши представления о литературе Киевской Руси чрезвычайно неполны и неточны. Причина тому — междоусобные войны, специальный религиозно-дидактический по преимуществу подбор монастырских библиотек — единственных на протяжении ряда веков хранителей литературного наследия Киевской Руси, но в основном — страшная лавина татаро-монгольского нашествия, снесшая с лица земли не только отдельные библиотеки, но целые города и села, поведшая к запустению многих областей.

Как бы ни были случайны и отрывочны наши сведения о литературе киевского периода, представление об особенностях ее развития облегчается тесной связью киевской книжности с русской действительностью, с запросами и нуждами русской жизни. Литература киевского периода чутко откликалась на все политические события и отчетливо отражала изменения общественной идеологии. Этот историзм литературы киевского периода явился основой ее самостоятельности и своеобразия.

Истоки русской литературы уходят в дофеодалный период истории Руси. Своим необычайно быстрым ростом русская литература XI—XII вв. обязана прежде всего тому высокому уровню устного русского языка, на котором застает его широкое распространение письменности, связанное с христианизацией.

Русский язык оказался способным выразить все тонкости отвлеченной мысли, воплотить в себе изощренное ораторское искусство церковных проповедников, передать сложное историческое содержание всемирной и русской истории, ответить нуждам нового для Руси, но достаточно старого христианского культа, воспринять в переводах лучшие произведения общеевропейской средневековой литературы. И это произошло потому, что письменный литературный язык опирался на культуру устного литературного языка — на предшествующее развитие «устной литературы», содержание которой не покрывалось одним только фольклором (см. гл. 5).

Судить об этом устном литературном языке мы можем по его отражению в русской письменности XI—XIII вв. Здесь в летописи, в житиях, отчасти в проповедях отчетливо дают себя чувствовать сложные культурные традиции русского ораторского искусства: воинского, посольского, судебного, вечевого и т. д. В самом деле, те великолепные по своему лаконизму, образности, энергии и свободе выражения речи, которыми русские князья перед битвами «подавали дерзость» своим воинам, не выдуманы летописцами: они отражают общую высокую культуру воинских речей, существовавшую на Руси независимо от всякой письменности. Вот, например, известные речи князя Святослава Игоревича к своим дружинникам: «уже нам сде пасти; потягнем мужьски, братья и дружино» (Лавр. л., 971); «уже нам некамо ся дети, волею и неволею стати противу; да не посралим земле Руские, но ляжем костьми, мертвии бо срама не имем...» (там же) и т. д.

Эти речи Святослава в известной мере связаны со всей традицией русского воинского ораторского искусства. «Аще жив буду, [то] с ними, аще погыну, го с дружиною», — говорит Вышата о своей дружине (Лавр. л., 1043). «Потягнете, уже нам не лзе камо ся дети», — говорит Святослав Ярославич перед битвой с половцами (Лавр. л., 1068). «Да любо налезу себе славу, а любо голову свою сложю за Рускую землю», — говорит Василько теребовльский (Лавр. л., 1097). «Луче, братье, измрем сде, нежели сесь [сей] сором възмем на ся», — говорит Изяслав Мстиславич черным клобукам (Ипат. л., 1150). С такими же речами обращается к своей дружине и Игорь Святославич новгород-северский перед битвой с половцами: «Братья! сего есмы искале, а потягнем» (Ипат. л., 1185) или: «Оже побегнемь, утечемь сами, а черныя люди оставим, то от бога ны будеть грех сих выдавше пойдемь; но или умремь или живи будемь на единомь месте» (там же). Такие же речи встречаем в Псковской летописи: «Братие, не посралим отець своих и дедов, кто стар той отець, кто млад той брат;



се же, братие, живот и смерть нам предлежит; постражем за свой живот» (I Пск. л., 1230).

Все эти речи свидетельствуют о высокой культуре устной воинской речи. В них чувствуется и княжеская ласка к дружинникам в назывании их «братьями», и отчетливое представление о воинской чести и чести родины, и мудрость воина (например, в словах Мстислава Ростиславича: «Мы бо аще ныне умрем, умрем же всяко»; Ипат. л., 1178). Но больше всего поражают они стройностью и исключительной сжатостью выражения.

Особым лаконизмом, выработанностью формул, отчетливостью и образностью отличались и речи, произносившиеся на вечевых собраниях. Несомненно, что вече выработало свои формы обращения к массе, умение кратко и энергично выразить мысль в доступной и легко запоминавшейся формуле. Образность и пословичность отличают эти вечевые обращения. Например, в ответ на зов Мстислава Мстиславича пойти на Киев против Всеволода Чермного новгородское вече отвечало ему: «Камо, княже, очима позриши ты, тамо мы главами своими вьржем» (I Новг. л., 1214). Так же энергична и речь посадника Твердислава на новгородском вече: «Даже буду виноват, да буду мертв; буду ли прав, а ты мя оправь, господи» (I Новг. л., 1218).

Летопись донесла до нас много речей, произносившихся послами. По самому своему содержанию эти речи послов были гораздо более разнообразны и сложны, чем речи воинские и даже вечевые. В них меньше традиционных формул, шаблонных оборотов. Вместе с тем они легко заимствуют отдельные формулы из практики иной устной речи — вечевой, воинской, даже разговорной. Однако чем сложнее были задачи, ставившиеся дипломатическому языку, тем более блестяще они разрешались.

Прежде всего поражает характерный образный лаконизм посольских речей: «Аз уже бородаг, а ты ся еси родил», — вспоминает Вячеслав киевский речи, переданные им через послов Изяславу Мстиславичу (Ипат. л., 1151). «Оже есте мой, Городецъ: пожгли и божницу, то я ся тому отьожгу противу», — говорит Юрий Долгорукий через послов Святославу Ольговичу (Ипат. л., 1152).

Особенное значение в посольских речах имела всегда выразительная антитеза: «Да аще [вам] любо, да седита, аще ли ни, да пусти Василка семо» (Лавр. л., 1100); «А поиди, а мы с тобою, не идеши ли, а мы есмь в хрестьном целовании правы» (Ипат. л., 1148); «Годно ти ся с ним [Юрием] умирить, — умиришася, паки ли а рать зачнеши с ним» (Ипат. л., 1154); «Аще ты ратен — си ратни же, аще ты мирен, а си мирни же» (Лавр. л., 1186) и т. д.

Повидимому, яркой выразительностью отличались и речи, произносившиеся на пирах и тризнах. Пирьы были широко распространены в быту княжеском, церковном, купеческом и крестьянском. О погребальных тризнах упоминают Ибн-Фадлан и русская летопись в рассказе о третьей мести княгини Ольги древлянам. О полуязыческих трапезах роду и рожаницам упоминают списки тех исповедальных вопросов, которые священники обязаны были

задавать «на духу». Сохранилось немало свидетельств и о мирских братчинах городских и сельских общин. Наконец, летопись донесла до нас многочисленные свидетельства о пирах князей с их широким гостеприимством. Они устраивались и по поводу вокняжения нового князя, и по поводу построения новой церкви или монастырской стены, и по поводу военных побед, и при дипломатических свиданиях русских князей. На пирах этих произносились похвальные речи, провозглашались здравицы, произносились поучения «духовным отцом» за четвертой чашей. Слово о богатом и убогом говорит, что на пирах этих выступали «ласковъци, шьпилеве, празднословъцы, смехословъцы». Следов этого пиршественного ораторства до нас почти не дошло, но о наличии его выразительно свидетельствует надпись на «круговой» серебряной чаре Владимира Давидовича (1139—1151): «А се чара кня[зя] Володимирова Давыдовича, кто из нее пь[ет] тому на здоровья, а хвала бога своего и осподаря великого кня[зя]». Отзвуком такой хвалы князьям, может быть, является заключительная здравица в Слове о полку Игореве: «Солнце светится на небесе, Игорь князь в Руской земле. Девици поють на Дуцаи, вьются голоси чрес море до Киева. Игорь едет по Боричеву к святей богородици Пирогощей. Страны ради, гради весели. Певше песнь старым князем, а потом молодым пети: Слава Игорю Святъславличу, буй туру Всеволоду, Владимиру Игоревичю. Здрави князи и дружина, побарая за христьяны на поганья плъки! Князем слава а дружине!»

Слава князьям провозглашалась не только на пирах. Ее пели победителю на улице или избранному князю на княжом дворе. Так было в 1068 г., когда киевляне, освободив Всеслава из поруба, «прославиша и [его] среде двора къяжа» (Лавр. л.). Так было в 1242 г., когда псковичи встречали Александра Невского при возвращении с Ледового побоища «поюще песнь и славу государю, великому князю Александру Ярославичу» (Житие Александра Невского в псковской редакции). Так было в 1251 г. при возвращении из победоносного похода Даниила галицкого и его брата Василька «и песнь славу пояху има, богу помогшу има, и придоста со славою на землю свою, наследивши путь отца своего великого Романа...» (Ипат. л.).

Культура устной речи отчетливо дает себя чувствовать и в тех речах, которые произносились при погребении князей (Александра Невского, Мстислава Ростиславича под 1179 г., Владимира Васильковича под 1288 г. и др.). Можно привести много других случаев, в которых сама действительность настойчиво требовала высокой культуры устной речи. Вспомним речи, произносившиеся при клятвенных заверениях на кресте (например, крестоцеловальные речи на Любечском съезде 1097 г.), речи на княжеских снемах, в заседаниях совета господ в Новгороде, при судопроизводстве и т. п.

Итак, устная речь, выдержанная в традициях русского ораторского искусства, играла выдающуюся роль в русской общественной жизни XI—XIII вв. Общественные формы древнерусской жизни давали ей возможности бóльшего развития, чем даже в последующее время — в XIV—XVII вв.



Однако наибольшего развития эта культура устной речи достигла, несомненно, в фольклоре. В фольклоре перед нами действительное искусство и при этом исключительно разнообразное по типам (см. гл. 5).

В фольклоре, как и в речах воинских, вечевых, и посольских, судебных и т. д., создавался устный литературный язык, который лег затем в основу письменной литературы и продолжал оказывать на нее воздействие в XI—XIII вв. Но не только высокий уровень устной литературы, достигнутый в IX—X вв., обусловил собою быстрое развитие литературы письменной. В основе большинства лучших произведений русской литературы XI—XIII вв. лежат произведения литературы устной. Прежде чем быть записанными в летописи, сказания о походах русских на Константинополь, северно-черноморские легенды, сказания о Вещем Олеге, сказания о премудрой Ольге и т. п. рассказывались или пелись. Речи, записанные в летописи, — воинские, посольские и другие — были действительно произнесены. Почти всякое известие летописи прежде, чем быть записанным летописцем, было им услышано, отложилось в устной речи прежде, чем в письменной. Легенды Киево-Печерского патерика рассказывались десятки лет, передавались из поколения в поколение прежде, чем были собраны в письменный свод — патерик. Житие Бориса и Глеба составлено на основании устных рассказов об их гибели. Следы высокой культуры именно устной речи явственно ощутимы и в Слове о полку Игореве. Даже такое изощренное и тонкое произведение риторического искусства, как Слово о законе и благодати митрополита Илариона, было рассчитано для произнесения вслух, и Иларион, обращаясь к своей «преизлиха насытившейся сладости книжной» аудитории, все же ссылался на то, что было известно его слушателям в устной, а может быть и прямо в фольклорной передаче: он ссылался на *устную* славу, окружающую первых русских князей и Русскую землю. Резко своеобразные и типично «устные» формы фольклора редко проникали в литературу письменную. Древнерусский автор и древнерусский читатель ясно ощущали разницу между устной речью и письменной. Однако письменная литература все время «шлифовалась» вкусами русского читателя, «корректировалась» фольклором. В литературе письменной отмирали все те формы, которые противоречили воспитанным на фольклоре и в обстановке русской жизни читательским вкусам.

Этой «шлифовке» и «корректировке» подвергались даже произведения переводной литературы: в меньшей мере переводы богослужебной и чисто богословской литературы и в большей мере произведения литературы исторической, сильнее всего интересовавшей русского читателя. Современное понятие перевода не всегда применимо к так называемой переводной литературе Киевского государства. Русские «переводчики» и русские переписчики, а иногда и сами читатели (на полях рукописей) вносили в эти переводы добавления, упрощали язык, иногда сокращали содержание памятника или, наоборот, вставляли целые куски из других произведений. «Переводчики» предпочитали считаться с потребностями читателя иногда в большей мере, чем соблюдать близость к оригиналу.

С принятием христианства на Русь; перешли многочисленные литературные произведения средневековой Европы и прежде всего Византии, наследницы культурного богатства античности и эллинизма. Константинополь распространял свое культурное и политическое влияние на Запад, на Восток (Малая Азия и Кавказ), на Юг (Северная Африка, несторианская Абиссиния) и даже на далекий Север. На Русь перешли из Византии литературные произведения, созданные в Палестине, Сирии, Египте, Южной Италии и т. д.

Первоначально византийские литературные произведения шли главным образом через Болгарию, письменность которой к моменту принятия христианства на Руси была одной из самых богатых в Европе. Обширный запас византийской переводной литературы на славянском языке был создан в Болгарии по преимуществу в X в., в блестящую эпоху царя Симеона (893—927).

По мнению А. И. Соболевского, на Руси в первые века после крещения были уже «почти все те южнославянские переводы IX—X веков, которые мы знаем по дошедшим до нас спискам». Однако очень рано, со времени княжения Ярослава I, который «собра писце многы, и прекладаше от Грек на Словенское письмо» (Лавр. л., 1037), переводы начали делаться и на Руси.

Поток литературных произведений средневековой Европы, шедший из Византии, а в некоторых случаях и минуя Византию, вливался в широкое русло самостоятельной русской литературы, подчинялся потребностям русской жизни, подвергался воздействию русских переводчиков, переписчиков. Отдельные переводные произведения перерабатывались, дополнялись многочисленными русскими вставками, включались в состав обширных русских сводных сочинений, постепенно осваивались и становились русскими по своему характеру.

Введение христианства потребовало прежде всего перенесения на русскую почву основного «корпуса» христианского вероучения — Библии. Значение Библии для Киевской Руси не ограничивалось, однако, исключительно религиозной стороной. Чрезвычайно пестрый и в идеологическом и в художественном отношении состав библейских книг, созданных в разное время на протяжении более тысячелетия, включал произведения самых разнообразных жанров, начиная с философской лирики и кончая воинской повестью. Библия заключала в себе обильные фольклорные мотивы, сказочные сюжеты, полулегендарную историю еврейского народа, проповеди, космогонические мифы, биографические повествования, богословские трактаты, лирические песнопения и т. д.

В Библии черпала свое основание не только официальная догматика, но и ереси, не только представители господствующего класса, но и социальные реформаторы — противники рабства и изобличители богатых. Отдельные библейские сюжеты развивала впоследствии народная фантазия (апокрифы); в Библии находила иногда стилистически близкие выражения русская летопись (особенно в передаче воинских эпизодов); русские проповедники пользова-



лись библейскими образами; разнообразное применение получали отдельные библейские сентенции.

Практические потребности богослужения вызвали появление на Руси богослужебных книг. Эти книги должны были служить руководством при совершении довольно сложного к началу XI в. христианского культа. От XI в. до нас дошли в болгарском переводе служебная месячная Минея (собрание служб в календарном порядке на весь год), Триоди («постная» — тексты праздничных служб до пасхи и «цветная» — тексты служб в послепасхальное время), затем служебники и требники (руководства при обычных богослужениях). Помимо исключительно «деловой» части, эти богослужебные книги заключали в себе тексты литературно-поэтического характера — песнопения и чтения, составлявшие, так сказать, художественную часть богослужебного ритуала. Эти богослужебные книги могли служить и для чтения вне церкви и использовались при обучении грамоте (Часослов). В церковных песнопениях — канонах, стихирах, кондаках, икосах Иоанна Дамаскина, Григория Назианзина, патриарха Софрония — не утратилась еще связь с античной и эллинистической поэзией, с настроениями античной философской лирики. Несложные по тематике (молитвы об исцелении и защите, покаянные молитвы, хвалы святым и божеству) церковные песнопения были очень сложны по своей стилистике и перенесли в русский литературный обиход отдельные цветистые выражения, рифму (обычного в Византии глагольного типа), ритмическое построение прозы, сложные и изысканные сравнения.

Рано перешли на Русь и многочисленные произведения учительной литературы — проповеди и поучения, созданные в Византии в целях христианизации языческих стран, для борьбы с ересями и для пропаганды христианской догматики и морали внутри Империи. Отдельные приемы этих произведений восходили к античному ораторскому искусству, к античной эпистолярной практике и к философской прозе. Христианское богословие, теснейшим образом зависевшее от эллинистической философии неоплатоников, в своих философских методах несло традиции софистов Горгия и Протагора. В Киевскую Русь было перенесено огромное количество сочинений христианских писателей III—XI вв. и сборников их произведений. Из учительной литературы особым распространением пользовались на Руси «отцы церкви» — Иоанн Златоуст, Ефрем Сирий и другие, из сборников — составленный в X в. в Болгарии при царе Симеоне Златоструй. Вместе со сборниками поучений и проповедей на Русь перешли произведения популярной вопросно-ответной формы (ведущей свое начало от так называемого сократического диалога) и разного рода толкования священного писания (толковые псалтыри и т. д.).

Обличения нравов, весьма распространенные в проповедях и поучениях, давали древнерусскому читателю конкретные представления о быте византийского населения, часто в живом и наглядном изображении рисовали обиход жителей Константинополя, Малой Азии, Египта и др.

Русские переводчики или русские переписчики дополняли переводные поучения своими вставками, применяли поучения к русской действительности. Так, например, в Слове о дерзости Павла апостола, где проповедник уговаривает паству не лениться слушать поучения, читаем такую вставку: «Аще бо бы рать на ны *половецкая* пришла и все наше попленили быша, таче воевода их претил [угрожал] бы и град наш раскопати... таче бы от царя нашего ят [пленен] и связан, в град приведен был,— не вси ли быхом вскочили и с женами и детми видети его?» Таких русских дополнений переводные поучения содержат немало. Самые сборники, в которых дошли до нас переводные поучения, подбирались на Руси согласно вкусам и потребностям русских читателей.

Авторитарность средневекового мировоззрения требовала подкрепления той или иной мысли в проповеди или поучении цитатой из авторитетного автора. Труд подбора таких цитат облегчался проповедникам и церковным писателям особыми сборниками энциклопедического характера, включавшими изречения известнейших поэтов, философов, ученых и богословов. Тип таких сборников выработался еще в античности и был широко распространен в средневековье. В христианские сборники изречений входили цитаты из священного писания (Псалтыри, Екклезиаста, Книги притч и премудрости Соломона и др.) и из античных писателей в тех случаях, когда они не противоречили христианскому мировоззрению. Сборники эти служили также пропаганде нового мировоззрения и были очень популярны на Руси. Здесь они перерабатывались и дополнялись согласно потребностям русской действительности. Древнейший из списков таких изречений вошел в Изборник Святослава 1076 г. Возможно, на русской почве был составлен Стослов Геннадия, дававший в предельно понятной и доступной форме основы средневекового мировоззрения. Стослов Геннадия был очень ценен для пропаганды новогосударственной власти Киевской Руси: «Царя бойся всею силою твоею», «всякому богатому главу твою поклоняй смирения ради» и т. д. Афоризмами из Стослова пользовался в своем Поучении Владимир Мономах.

Наиболее обширный переводный сборник Киевской Руси — Пчела был составлен в Византии в XI в. В Пчеле особенно резко было сближено мировоззрение христианских и античных писателей. Здесь находились изречения, а иногда и обширные выдержки, рассказы, анекдоты и целые рассуждения из Эсхила, Софокла, Еврипида, Менаандра, Феокрита, Геродота, Фукидида, Ксенофонта, Демосфена, Демокрита, Диогена, Сократа, Платона, Пифагора, Плутарха, Эпиктета и др.

Еще больше обогащали русского читателя самыми разнообразными сведениями исторического, географического и бытового характера жития святых. Византия знала в основном два типа житий: проложные и минейные. В Пролог, предназначенный для чтения в церкви, включались краткие, деловито составленные жития, представлявшие собой как бы «послужной список» святого, сравнительно однообразный по своему построению. Более пространные жития



включались в состав Четых-миней. В Четых-минях житие представляло собой обширный литературный памятник, обильно украшенный риторикой и правоучительными отступлениями с подробным описанием жизни святого, его посмертных «чудес» и заключительной похвалой.

Кроме Прологов и Четых-миней, существовали и другие сборники, в которых жития были объединены по какому-либо одному признаку, главным образом территориальному. Так, например, в Киевской Руси под названием патериков известны были сборники Синайский, Египетский, Римский и Алфавитный.

Жития святых представляли собой орудие пропаганды нового мировоззрения, наглядно показывали средневековому читателю образцы христианских «добродетелей», в поучительной форме рассказывая ему о новых идеалах христианской религии. Однако, наряду с этим, жития приносили читателю увлекательное чтение, в котором элементы житийно-чудесного переплетались с народной фантастикой, с неизжитыми дохристианскими верованиями и мифами. Выразительные картины искушений святых, занимательные подробности «чудес», воинские эпизоды, разнообразные характеристики святых — монахов-отшельников, юродивых, церковных иерархов, воинов, мучеников, ораторов, князей и т. д., живших в разнообразных исторических и географических условиях, расширяли литературные вкусы читателя, будили его воображение. В сказочной форме показывалась иногда в житиях власть святых над животными, над стихиями природы, чудесные видения, прорицания и исцеления больных. В основе литературной манеры житий лежали античные биографии Ксенофонта, Тацита и особенно Плутарха. Византия знала специальные теоретические сочинения, излагавшие литературные приемы составления житий. Эти приемы подчиняли жития известным трафаретам, которые в значительной мере обедняли житийный жанр, особенно в описаниях детства святого, его смерти и посмертных «чудес».

На русской почве многие из житий были переработаны, а некоторые и дополнены новыми эпизодами. Так, например, было дополнено четвермя новыми рассказами житие Николая чудотворца. В двух из них местом действия является Киев. Был переработан и расширен значительными дополнениями один из основных сборников житий — Пролог.

Исключительный литературный интерес имеют так называемые апокрифы, т. е. та часть христианских и иудейских религиозных, легендарных сочинений, которые не признавались официальной церковью за достоверные.<sup>1</sup> Апокрифы в поэтической форме дополняли то, чего не хватало в официальных церковных произведениях. В них рассказывалось о том, как первые люди получили знания, о происхождении зла, подробности сотворения мира и человека,

---

<sup>1</sup> Часть этих неофициальных сочинений признавалась вначале «тайными» (ἀπόκρυφα), часть — ложными. Впоследствии и те и другие были в равной степени запрещены.

повествовалось о последних временах мира и загробной жизни. В широкой степени эти рассказы черпали свой материал в античной мифологии, в дохристианских и восточных религиях, в фольклоре и в эллинистической философии.

Установить, какие из апокрифов были известны еще в Киевской Руси, а какие перешли на Русь позднее, — не всегда легко, однако широкое распространение их уже в древнейший период несомненно. От XI в. сохранился отрывок из апокрифических Деяний апостолов — своеобразного романа путешествий с многочисленными сказочными подробностями: чудовищными народами, разбойниками, описаниями дальних краев, приключениями на море и т. д. От XII в. сохранилось Хождение богородицы по мукам — апокриф, имевший громадное распространение в древнерусской литературе. Апокриф этот принадлежит к числу популярных в средневековье сказаний о загробной жизни и конце мира, каковы, например, Откровение Мефодия Патарского, Видение Андрея Юродивого, Житие Василия Нового и т. д. Ближе всего он стоит к апокрифическому Откровению апостола Павла, по схеме которого построена, например, Божественная комедия Данте. Хождение богородицы рассказывает, как богоматерь обходит в сопровождении архангела Михаила места посмертных мучений грешников и добивается для них у бога некоторого облегчения. Богородица видит огненную реку с погруженными в нее грешниками, клеветников и сплетниц, подвешенных за языки и зубы, ленивцев на «одрах» мучений и т. д. Мучения описаны в конкретных картинах и чувственных представлениях: мороз, жар, смрад, тьма и т. д.

На Руси апокриф получил некоторые добавления, из которых особенно интересно рассказывающее о том, как богородица видит в аду людей, которые «Трояна, Хърса, Велеса, Перуна на боги обратиша, бесом злым вероваше, да и доселе мракъмь злымь одържими суть». Легенда о Хождении богородицы дожила до XIX в. и отразилась в народном фольклоре (в духовных стихах). Впоследствии в описаниях мучений многочисленные переписчики добавляли тех, кого хотели видеть в аду: «немцев управителей», «бояр злых» и т. д. В аду очутились даже «немиловитви князи, епископи и патриарси, и цари, иже не сотвориша воли божия...».

Большим распространением пользовался в Киевской Руси и другой эсхатологический апокриф — Откровение Мефодия Патарского, рассказывавшее, между прочим, о народах, «заклепанных» Александром Македонским в горном ущелье, из которого они выйдут перед самым пришествием антихриста, растлят и осквернят землю. Об этой легенде вспоминает русский летописец в связи с половецким погромом 1096 г., когда половцы под предводительством «шелудивого» Боняка разграбили Печерский монастырь.

Широко пользовались апокрифами русские писатели: Кирилл Туровский (Евангелием Иакова) и Климент Смолятич (Вопросами Иоанна Богослова).

Апокрифы приходили на Русь не только через Болгарию, но часто и в непосредственных переводах на русский язык с греческого (Сказание Афродити-



ана — апокриф полуязыческого характера), в составе византийских хроник, в устной передаче — через паломников (в сочинении Даниила Паломника указываются апокрифы: о пупе земном, о юдоли плача, о Иордане и др.), наконец через произведения искусства (например, изображение апокрифического благовещения у колодца в киевской Софии).

Византийская историческая литература была представлена на Руси двумя хрониками, отразившими два различных направления византийской исторической мысли: одно, стремившееся примирить античность и античную историю с христианством, и другое, освещавшее историю исключительно с религиозной точки зрения.

Первое из этих направлений представлено переводом хроники Иоанна Малалы из Антиохии, сделанном в Болгарии в эпоху расцвета болгарской литературы при царе Симеоне. Вслед за рассказом о сотворении Адама и вавилонском столпотворении Малала рассказывал историю Ассиро-Вавилонии, Египта, Персии и Греции, сопоставляя ее с историей иудейского народа — центрального в хрониках чисто клерикального направления. Одна из книг хроники была целиком посвящена Троянской войне. В следующих книгах раскрывалась история Рима, Антиохии и главным образом Византии. Хроника Малалы пестрит ссылками на Плиния, Тита Ливия, Геродота, Иосифа Флавия и других, помещает с Еврипидом, Гомером, Вергилием, обильно насыщена рассказами об античных богах и героях (Кроносе, Зевсе, Ире, т. е. Гере, Гефесте, Геракле, Орфее) и мифологическими сюжетами (здесь повествовалось о похищении Европы, излагались мифы о Тезее и Ариадне, о Данае, о Минотавре, Ромуле и Реме и др.).

Наряду с античными мифами хроника Малалы заключала и кое-какие апокрифические сказания, по преимуществу познавательного значения: об изобретении астрономии Немвродом и еврейской грамоты Сифом и др.

Другая хроника, принадлежавшая перу Георгия Амартола («Грешника»), была переведена на Руси, очевидно, при Ярославе и проникнута исключительно религиозными воззрениями на мир. Хроника Амартола касается по преимуществу истории иудейского народа и истории Византии, в связи с историей христианской церкви, сведения о которой черпались Амартолом из церковной истории Евсевия. Амартол приводит отрывки из житий святых, часто совершает обширные дидактические отступления и экскурсы в область богословия, опровергает язычество, доказывая, что языческие боги «не суть боги, но грешники человеци», обожествленные после своей смерти. Церковная направленность Амартола создала его труду значительный успех у читателей церковников, во многих монастырских библиотеках были его списки, благодаря чему они дошли до нашего времени в значительном количестве экземпляров.

Помимо хроник Амартола и Малалы, на Русь попадали и другие исторические сочинения, менее значительные по объему и содержанию: например, Летописец вкратце патриарха Никифора, хроника Георгия Синкелла и др.

Подробное изучение различных редакций русских переводов византийских хроник убедительно показывает, как упорно и настойчиво расширяли русские переписчики их исторический материал включениями в их повествовательную ткань все новых и новых исторических произведений для наиболее полного освещения всемирной истории. Именно этим способом составилась на основании переводного и частично русского материала обширная компиляция по всемирной истории — Еллинский и римский летописец. Первоначальную основу этой компиляции (первую редакцию Еллинского и римского летописца) составляли переводные византийские хроники: Георгия Амартола (иначе Римский, т. е. византийский, летописец), Иоанна Малалы (иначе Еллинский, т. е. «древнегреческий», летописец) и Летописец] вкратце патриарха Никифора. Искусство и высокая требовательность русских авторов, работавших над этой компиляцией или сводом в XII—XIV вв., наглядно видны хотя бы из того, что они, не довольствуясь материалами этих хроник, дорабатывали их вставками, заменами и уточнениями иногда на основании источников этих самых хроник с тем, чтобы более точно и подробно представить события всемирной истории. Вместо соответствующих мест Амартола или Малалы в текст Еллинского летописца включались более подробные библейские исторические книги Ветхого завета, вместо рассказа хроники Малалы об Александре Македонском — более подробный текст Александрии второй редакции (списки второй редакции Еллинского и римского летописца). В те же списки Еллинского летописца второй редакции включается Сказание о трех пленениях Иерусалима Иосифа Флавия с особой повестью Взятие Иерусалима третье Титово, Сказание Епифания о богородице, Видение Даниила, замечательная, новгородская по своему происхождению, повесть о взятии Константинополя крестоносцами, известия о крещении Руси (отличные от летописи), о походах русских князей на Византию (отличные от Повести временных лет), повесть о Казарине и его жене и многие другие. В результате всемирная история на Руси была представлена очень подробным и умело составленным сводом всех лучших тогдашних источников по всемирной истории.

Значение хроник для древнерусского читателя выходит далеко за пределы только тех исторических сведений, которые они ему сообщали: хроники представляли собой энциклопедические произведения, в которых давались, наряду с историческими повествованиями, попытки изложения философии Платона, Аристотеля, объяснение некоторых явлений природы, средневековая география и т. д.

К этой части исторических произведений близко примыкает литература средневекового природоведения, переводы которой занимают большое место в книжности древней Руси. Переводы Христианской топографии Космы Индикоплова (т. е. «плователя в Индию»), Физиолог и различные Шестодневы давали средневековые представления о мире (о них см. гл. 7). Большой интерес вызывали в древней Руси переводные повести и романы, также корректи-



ровавшиеся, сокращавшиеся или дополнявшиеся многочисленными русскими читателями и переписчиками.

Одним из излюбленных произведений древнерусского читателя была многократно перерабатывавшаяся в европейской литературе Александрия — роман, восходящий еще к эллинистической литературе. Александрия рассказывала о подвигах и необычайной жизни Александра Македонского, о чудесных восточных странах — Индии и Персии и их фантастических диковинных обитателях — амазонках, любомудрах и т. д. Русского читателя притягивало к Александрии не только обилие событий и занимательность фабулы, но и особая направленность ее, отвечавшая военным тревогам того времени и потребностям только-что христианизированной страны: в романе превозносились воинская доблесть и полководческое умение Александра, смелость его тактики, рыцарство, энергия, прямотуше и неукротимая воля к победе. В Александрии всюду проводилась мысль о превосходстве греческой культуры над «варварской», позволявшая находить широкие аналогии в русской действительности, где христианство еще вело жестокую борьбу с язычеством. На русской почве Александрия подвергалась дополнениям из хроники Амартола и др.

Киевской же Руси принадлежит перевод одного из наиболее крупных произведений мировой литературы, художественное значение которого не утрачено и для нашего времени, — Повести о разорении Иерусалима Иосифа Флавия. Повесть обнимала собой драматические события еврейской истории за два с половиной века и отличалась тем же обилием воинских эпизодов, что и Александрия. Русский переводчик Повести всюду акцентировал представления о воинской чести, о ратной славе, обильно ввел в нее русскую военную терминологию, кое-где дополнив перевод собственными вставками, призывающими к героизму, хваля тех, кто умирает на поле битвы, и проклиная тех «телолюбцев», которые предпочитают умирать от болезни дома. Перевод отличается высокими художественными достоинствами, ритмичностью и вместе с тем простотою речи.

Другой переводной повестью, отвечавшей военным вкусам древнерусского читателя, были Троянские деяния, произведение, приписанное участнику осады Трои — Диктису Критскому и включенное затем в состав хроники Малалы.

Едва ли не лучшей из переводных воинских повестей Киевской Руси была повесть о Василии Дигенисе Пограничнике (Акрите), представлявшая собою прозаический перевод византийской поэмы X в. — литературной обработки византийской богатырской былины. Поэма эта входила в цикл византийских произведений о подвигах богатырей-пограничников, охранявших восточные границы империи. Тема этих произведений была как нельзя более актуальна в Киевской Руси, где существовали аналогичные отношения со степью на востоке и юге. Отдельные черты и эпизоды (например, поединок Девгения с девушкой-богатырем Максимьяной) роднят повесть с русским героическим эпосом. Русским переводчиком подчеркнуты героические сказочные мотивы поэмы, ослаблена любовная тема, опущены некоторые лишние исторические детали;

в отдельных местах как бы еще звучит стихотворная форма греческого оригинала, сохранены рифмы и ритмическая речь. Повесть о Девгении просуществовала в русской литературе до XVIII в., являясь вместе с Повестью о разорении Иерусалима одним из лучших памятников русского литературного языка Киевской Руси.

Наряду с повестями, в которых основное место занимала воинская тематика, из Византии пришли повести сказочного характера. Нравоучительная тенденция этих повестей была выражена более ярко, а самый христианский характер их, несмотря на многочисленные пережитки языческой древности, более силен, чем в повестях воинских. Стилистической особенностью всех этих повестей является обилие афоризмов и изречений, до которых был большим охотником средневековый читатель. Такова, например, повесть об Акире Премудром, в основе которой лежит ассиро-вавилонская повесть об Ахикаре, арамейский текст которой был найден в папирусе V в. до н. э. Другая из повестей этого типа — о Варлааме и Иосафе — представляет собою христианскую переработку одной из версий жизнеописания Будды, особенно распространенной в мировой литературе XI в. Типичные черты восточной мистики и восточной аскезы примирены в ней с христианским монашеским идеалом жизни. Восточного же происхождения переводная повесть о царе Адриане.

Предложенный обзор переводной литературы ясно показывает, что отношение русских переводчиков и читателей к этой литературе было далеко не пассивным. Эти переводы порой граничили с творческими переработками, а самый выбор переводимых сочинений диктовался потребностями русской действительности. Конечно, в переводах богослужебных русские переводчики не вносили добавлений от себя, — это и понятно, но во всей особенно интересовавшей русского читателя литературе исторического характера ясно видна рука русского переделывателя. Переводная литература была подчинена потребностям русского читателя.

Жанровое обилие переводной литературы оказалось весьма плодотворным для литературы Киевского государства. Каждый из жанров — повести, хроники, жития, проповеди, поучения и т. д. — был творчески освоен на русской почве, подвергаясь изменениям согласно потребностям русской жизни, отразил веяния действительности и типические черты культуры Киевского государства. Рядом с византийскими житиями и переводными проповедями составлялись русские, более историчные, жития и русские проповеди, отражавшие русскую действительность. Однако наряду с жанрами, общими для всей христианской литературы Европы, на Руси создавались и свои жанры, возникшие на русской почве совершенно самостоятельно: летописи, воинские повести, повести о княжеских преступлениях, а также произведения, стоявшие вне всяких жанров, — Слово о полку Игореве, Слово о погибели Русской земли и многие другие. Русская литература движется по своему, самостоятельному руслу, беря истоки в дописьменной, устной литературе и фольклоре, захватывая в своем мощном



движении произведения переводной литературы, перерабатывая их, отбирая то, что в первую очередь отвечало русским потребностям, и стремясь вперед, к постепенному накоплению элементов реалистичности, к освобождению от церковности. В этом мощном течении борются силы прогрессивные с силами консервативными, социальный опыт с инертной идеалистической богословской системой, элементы национальные, твердо опирающиеся на запросы и нужды русской жизни, с традициями церковной литературы.

Древнейшие из дошедших до нас произведений оригинальной литературы Киевского государства связываются с эпохой княжения Ярослава Мудрого, точно согласуясь с той характеристикой его просветительной деятельности, которую нам оставила летопись. Ко времени Ярослава, согласно наиболее вероятной гипотезе А. А. Шахматова, относится появление так называемого Древнейшего киевского свода — первого русского летописного свода вообще, гипотетически восстанавливаемого на основании позднейших летописей.

Древнейший киевский свод Ярослава имел огромное значение для всего последующего киевского летописания, определив его содержание и стиль. По обилию исторического материала, по разнообразию вошедших в него жанров, а главное по высоте своей идейной направленности и художественным достоинствам Древнейший киевский свод — один из лучших в длинном ряду русских летописей.

Древнейший свод соединил в себе уже в совершенно отчетливой форме все особенности русского летописания: высокое патриотическое сознание летописца, художественность изложения, умелое ведение диалогов, чувство юмора и острую бытовую наблюдательность.

Совершенно исключительное значение для всего последующего летописания имел самый выбор языка, на котором велась летопись, — простого, ясного, лишь в малой степени впитавшего в себя славянизмы церковной книжности. Разителен контраст, который представляет в этом отношении Древнейший киевский летописный свод Ярослава с большинством одновременных ему западноевропейских хроник, составлявшихся на чуждом и непонятном народу латинском языке.

В круг исторических источников составителя первого летописного свода включаются памятники материальной культуры прошлого, данные языка, письменные произведения предшествующей поры — русские и нерусские, — документы и рассказы очевидцев, народные песни и легенды. Составитель Древнейшего свода указывает урочища, рвы и могилы, сохранившиеся от времен минувших (становища Ольги, могилу Игоря у Искоростеня, Олега Святославича у Вручего и др.), ссылается на рассказы очевидцев, тщательно собирает



устные предания, приводит пословицы и поговорки, имеющие историческое происхождение. Голод в осажденной Родне позволяет ему объяснить поговорку «беда аки в Родне»; рассказывая о внезапном исчезновении обров, летописец упоминает пословицу «погибоша аки обри» и т. п. Летописец как бы запросто беседует со своим читателем, напоминает ему о том, что он и сам может знать, будит его любознательность, сообщает ему попутно сведения географические, этнографические, бытовые и т. д. Летописец не допускает в своей работе сознательного искажения действительности или произвольного изменения фактов в материалах своих предшественников. Живое чувство истории, изменчивости мира и значительности совершаемого им дела органически присуще уже составителю Древнейшего свода, в «правдивых сказаниях» записывающему для отдаленных потомков «земли родной минувшую судьбу».

Еще одна черта составляет художественное своеобразие древнейшей русской летописи: это ее крепкая связь с фольклором. Древнейший киевский свод в значительной мере основывается на народных преданиях и былинах: об основании Киева, об овладении Киевом хитростью Олега, о щите, прибитом Олегом на воротах Царьграда, о войнах Святослава и т. д. (см. гл. 5).

Присущий летописцу юмор выражается то в передаче насмешек над тучным польским королем Болеславом («прободем трескою череву твою толстое»; Лавр. л., 1018), то в юмористическом изображении страданий дьявола при крещении Руси, то в каламбуре по поводу радимичей, потерпевших поражение на реке Пищане от воеводы Волчий Хвост («пищаньци волчья хвоста бегают»). Летописец умеет живо и драматично изобразить то или иное событие, метко охарактеризовать то или иное лицо. Древнейший свод сохранил нам образ бесстрашного и неутомимого в походах богатыря князя Святослава, вещего Олега, мудрого князя Ярослава, предателя Блуда. Драматично рассказано в нем бегство братоубийцы Святополка, которому повсюду чудилась погоня: «Побегнете со мною, — женуть по нас», — обращается он к отрокам, несшим его на носилках, — «осе женуть, оно женуть, побегнете...» (Лавр. л., 1019).

Владимир Святославич выступает в своде тем ласковым князем «Красным Солнышком», каким мы его знаем и по былинам. Образ Владимира и его характеристика как бы подготавливают собою характеристику Ярослава. Владимир «вспахал землю» и сделал ее мягкой, т. е. крестил Русь, Ярослав «засеял» сердца верующих людей книжными словами, а мы — новые христиане — пожинаем: такова историческая концепция летописца. Похвала Ярославу, составляющая торжественную заключительную часть свода, искусно перевита с похвалой просвещению и книгам: «Се бо суть реки, напаяюще вселенную, се суть исходяща мудрости, книгам бо есть неисчетная глубина, сими бо в печали утешаемы есмы...» (Лавр. л., 1037).

Центральные события свода — успехи Киевской державы, крещение Руси и просветительная деятельность Ярослава. Центральная идея свода — величие Руси. Идея эта объединяет единым настроением все изложение свода, пре-

восходно заканчивающегося тенденциозной концовкой: «Радовавшеся Ярослав... зело, а враг сетовашеться, побежаем новыми людьми христианскими» (Лавр. л., 1037).

Есть все основания думать, что древнейшая русская летопись была составлена далеко не сразу, что в ее основание легло произведение типа патерика, которое можно условно назвать Сказанием о первоначальном распространении христианства на Руси. В него вошли рассказы о христианстве Ольги, о первых русских христианах-варягах, о крещении Владимира и Руси с обширной речью философа, о Борисе и Глебе и о просветительной деятельности Ярослава. Все эти повествования связаны единою мыслью о праве Руси на церковную и культурную самостоятельность. Автор Сказания прославляет благочестие русских людей и проводит мысль о свободном, а не подневольном принятии Русью христианства. Вот из этого первого русского исторического сочинения, еще не разбитого по годам, и выросла постепенно древнейшая русская летопись путем присоединения совсем иных по своему характеру — народных в своей основе — сведений.<sup>1</sup>

Поразительно, что и идейно и стилистически это Сказание о первоначальном распространении христианства на Руси близко подходит к Слову о законе и благодати митрополита Илариона.

В числе книжных людей, составлявших литературное окружение Ярослава, летопись сохранила нам имя Илариона — священника подгородного имения Ярослава села Берестова. Впоследствии, когда Ярослав разорвал отношения с Византией и пытался создать самостоятельную русскую церковь с русской, а не греческой церковной иерархией, Иларион был поставлен в митрополиты по повелению Ярослава собором епископов помимо Константинопольского патриарха. Принадлежащее Илариону Слово о законе и благодати (между 1037 и 1050 гг.) чрезвычайно сложно по построению и мысли, полно символов, олицетворений и риторических фигур: антитез, обращений, вопросов и т. д. Несмотря на свою украшенность и пышность, Слово Илариона отличается четкой архитектурностью и конструктивностью построения, ясной слагаемостью частей, цельностью и продуманностью замысла, резко отличающих его от позднейших витийственных произведений ораторского искусства XIV—XVII вв.

Слово построено на противопоставлении иудейства и христианства. На этот основной стержень нанизаны различные символы и олицетворения. Под именем «закона» Иларион подразумевает иудейство, под именем «благодати» — христианство. Превознося христианство над иудейством, Иларион стремится возвеличить принявшую его Русь и вводит новое параллельное противопоставление Руси христианской — Руси языческой. Нетрудно заметить в Слове тот же патриотизм «новых христиан», гордящихся своею новою верою и родиной, — «яже видима и слышима есть всеми коньци земля», что и в древнейшей летописи,

<sup>1</sup> См. об этом: Д. Лихачев. Русские летописи. М.—Л., 1947, стр. 58—76.



Иларион прославляет Русь и ее просветителя Владимира. Всемирная история представляется Илариону как постепенное расширение христианства на все народы мира, в том числе и на русский.

Вторая часть заканчивается прославлением Ярослава—продолжателя дела Владимира на Руси. Заключается Слово молитвой, обращенной к Владимиру, о Русской земле и ее независимости: «донели же стоит мир, не наводи на ны вапасти искушения, не предай нас в руки чуждых, да не прозовется град гвой — град пленен, и стадо твое — пришельци в земли не своей, да не прорекут страни: где есть бог их».

Блестящее произведение ораторского искусства, предназначавшееся только для избранных слушателей — «преизлиха насытившихся сладости книжные». Слово пользовалось тем не менее огромной популярностью, неоднократно переписывалось и бралось в образец подражаний, одно из которых было составлено даже вне русских пределов — в Сербии (монахом Доментаном в XIII в.).

Литературе эпохи Ярослава принадлежит и первое русское оригинальное произведение житийного жанра: рассказ «о убьеньи Борисове», записанный в летописном своде Ярослава под 1015 г.

Рассказ этот уже в достаточно ясной форме выразил главнейшие особенности агнографических произведений киевского периода: живую связь с современностью, с политической борьбой своего времени, обилие военных эпизодов и черт быта, наличие элементов народно-песенного эпоса и народно-легендарных мотивов, влияние простого и лапидарного летописного языка. Всем этим жития Киевской Руси значительно отличались от современных им византийских житий, где черты исторической действительности преднамеренно сглаживались подводялись под ходячие литературные шаблоны. Идеализируя и согласовывая с требованиями христианской морали образ святого, русские жития умеренно привносили в него аскетические мотивы и не заглушали тех черт, которые рисовали святого как практического деятеля своего времени. Свежая струя, внесенная русскими житиями в агнографический стиль, в значительной мере уже застывший в Византии, объясняется в первую очередь теми практическими задачами, которые ставило литературе молодое Киевское государство.

Деятельность первых русских святых была еще недавно у всех на виду, прочно держалась в народной памяти и с трудом поддавалась подведению под житийные шаблоны. В составлении первых русских княжеских житий (хронологически предшествовавших житиям монашеским) агнографами руководила задача создания собственного русского сонма святых и церковного подкрепления авторитета княжеской власти. Летописная статья 1015 г. «о убьеньи Борисове», являющаяся первым из известных нам житий Киевской Руси, написана с нарочитой целью подтверждения авторитета и законности великокняжеской власти Ярослава Мудрого.

Житие рассказывает об убийстве Святополком — сыном Владимира — своих братьев Бориса и Глеба с целью овладения киевским столом. Борис и Глеб

идеализированы как безропотные мученики-христиане, без сопротивления встретившие руку убийцы. Святополк изображен злодеем, исполняющим бесовскую волю, а Ярослав — мстителем за смерть праведных братьев и охранителем их памяти. Рассказ полон бытовых деталей и жизненных положений (например, сцена ограбления Борисова отрока Георгия), драматизован диалогами и монологами, не чужд народной лирики, сочетающейся с церковной в плаче Глеба («Кде суть словеса твоя, еже глаголяше къ мне, брате мой любимый. Ныне уже не услышу тихаго твоего наказания...», Лавр. л., 1015).

К концу княжения Ярослава Мудрого относится, повидимому, основная часть и другого жития на ту же тему — Сказания о убиении Бориса и Глеба. Житие это более тенденциозно, чем летописная статья 1015 г., которую оно использовало в качестве одного из своих источников, и представляет собою настоящий панегирик Ярославу.

Сказание углубило литературную сторону летописной статьи 1015 г., усилило лирические моменты, сделало более выразительными характеристики и патетичнее отдельные сцены, развило диалог и монолог. Это — стилистически сложное произведение, сочетавшее цветистую риторiku с лаконизмом летописного языка и вместе с тем чрезвычайно ясное конструктивно, с четким членением на части, последовательным планом и т. д.

Благодаря своим художественным достоинствам Сказание пользовалось широкой популярностью во всем последующем движении древнерусской литературы и дошло до нас в огромном количестве списков, оказав большое влияние на развитие житийного жанра. При этом исключительно важное значение имело то, что Сказание это, так же как и летописная статья 1015 г., было свободно от схематичности византийских житий, хотя неизвестный автор его был, повидимому, настоящим знатоком житийной литературы, проявив знакомство с житиями Дмитрия солунского, Вячеслава чешского, Никиты-мученика Варвары и др.

Литература эпохи Ярослава не была только узко киевской. Инициативе Ярослава принадлежит создание в Новгороде, так же как и в Киеве, патрональной святыни города — храма Софии, открытие и освящение которого сопровождалось, очевидно, аналогичным учреждением церковной библиотеки и заведением летописи. С именем Ярослава новгородцы постоянно связывали и начало своей автономии.

Русский новгородский епископ Лука Жидята, по воле Ярослава сменивший умершего епископа-грека, был, вероятно, и инициатором первого новгородского свода 1050 г., состав и характер которого выясняется отчасти из сопоставления позднейших новгородских летописей с киевским Начальным сводом 1095 г. Для составления этого свода были привлечены предшествующие летописные записи, ведшиеся в Новгороде при владычном дворе, и киевский Древнейший свод 1039 г. Лука Жидята известен, кроме того, как автор Поучения к братии, точнее к своей новообращенной в христианство пастве, еще не отошедшей



от обычаев языческой старины. Соответственно своей цели — преподать слушателям простейшие правила поведения христианина — поучение отличается чрезвычайной несложностью содержания и отсутствием какой бы то ни было риторической украшенности. Лука учит не говорить «срамные» слова, смиренно вести себя в церкви, не богохульствовать, не пить «без года, а здовол, а не до пьянства», почитать «стара человека и родителя своего», судить по правде, не заниматься ростовщичеством, чтить князя и бояться бога. Обычно элементарный характер поучения Луки приписывается особому, якобы присущему Новгороду, характеру литературы. Однако такие же элементарные и незамысловатые поучения для такой же аудитории составлялись и в Киеве. Примером тому может служить большинство поучений Феодосия Печерского (ум. в 1074 г.).

Литературная деятельность Феодосия Печерского служила предметом постоянных разногласий в исследовательской литературе. Повидимому, ему принадлежит только несколько поучений к монахам Печерского монастыря, в которых он рассказывает им, как вести себя в церкви (не опаздывать к богослужению, не прислоняться к стене, при пении Псалтыри соблюдать порядок и т. д.) и вне церкви (кланяться при встрече друг с другом), а также об элементарных христианских добродетелях: смирении, терпении и др. Поучения Луки Жидяты и Феодосия Печерского принадлежат к числу тех произведений учительной литературы, которые были обращены к недавним язычникам, людям, не искушенным ни в книжности, ни в тонкостях новой христианской культуры.

Первый этап оригинальной литературы Киевской державы вывел ее на путь большого и разнообразного развития. Летопись, проповедь и жития — три основных жанра киевской литературы — получили при Ярославе главнейшие черты своего содержания и стиля. Все три жанра, наряду с их преимущественной историчностью и злободневностью, отличаются торжественным характером и монументальными формами, ясностью замысла, определенностью тенденции и стройностью построения.

Четкое идейное наполнение составляет отличительную особенность литературы времени Ярослава. Она служит в первую очередь возвеличению Русской земли среди прочих «языков», прославлению княжеской власти и новой веры. Этой тенденции подчинен составленный при Ярославе первый летописный свод, отчасти проповедь и жития. Жития и свод представляли собой первые попытки широкого обобщения русской истории и создания своего русского олимпа святых.

Особое место в литературе времени Ярослава и ближайших к ней годов занимают произведения, отражавшие практические потребности пропаганды новой религии. В последующей литературе древней Руси черты эпохи никогда не были выражены так ярко и определенно, никогда литературные произведения не были подчинены такому идейному единству.

Попытка Ярослава создать вокруг киевской Софии прочный оплот русского просвещения не удалась. Вслед за русским митрополитом Иларионом Константинополь снова присылает митрополита-грека. Центр русского просвещения передвигается со второй половины XI в. в Киево-Печерский монастырь, где получали образование первые русские епископы и попы и где книжность и литература нашли себе до поры до времени надежное пристанище. Монашеские аскетические настроения, усугубленные тревожной политической обстановкой конца XI в., начинают постепенно все больше проникать в литературу.

Первая переработка Древнейшего киевского свода была произведена около 1073 г. монахом Киево-Печерского монастыря Никоном, книжная деятельность которого оказалась особо отмеченной впоследствии в житии Феодосия. Никон был в свое время сослан в Тмутаракань. Поэтому в своде встречаются тмутараканские известия и предания: о поединке черкеса-касога Редеди с Мстиславом (эпизод этот упомянут в Слове о полку Игореве), о хазарской дани и др. Использование фольклора Причерноморья привело к переработке рассказа Древнейшего свода о крещении Руси. Никон ввел в Древнейший свод так называемую Корсунскую легенду, рассказывавшую о взятии Корсуни Владимиром, о сватовстве Владимира и, наконец, о крещении его именно в Корсуни (а не в Киеве или Василеве). «Се же, не сведуще право, глаголють яко крестился есть в Киеве, инии же реша в Василеве» (Лавр. л., 988), — добавляет Никон, опровергая версию своего предшественника — составителя Древнейшего свода. В этом рассказе Никона есть фольклорные мотивы, отразившиеся затем в былине о сватовстве Владимира к греческой царевне. По топографической точности легенда, несомненно, принадлежала Причерноморью и именно отсюда попала в свод Никона (В. Л. Комарович). Из других фольклорных мотивов в свод Никона вошли сказания о крещении княгини Ольги, во время которого хитрая Ольга «переключала» византийского императора, сделав невозможной его женитьбу на ней. Очевидно, Никоном же введен в летопись и рассказ о трехкратной мести Ольги древлянам за смерть мужа.

В этих рассказах ярко проявилась бытовая наблюдательность летописца, умение живо передать диалог, в лицах рассказать историческое событие. Большой жизненностью отличаются, например, все диалоги княгини Ольги с пришедшими к ней послами от древлян, убивших мужа Ольги — Игоря. Особенно интересен первый из них, в котором Ольга, притворяясь приветливой, встречает древлянских послов словами «добри гостье придоша», на что древляне простодушно отвечают «придохом, княгине». Кончается этот замечательный диалог, в котором от начала и до конца выдержан иронический тон Ольги и простоватый — древлян, вопросом Ольги к скинутым ею в яму послам: «Добра ли вы честь?» и ответом послов: «Пуще ны Игоревы смерти».



Настроение торжества по поводу водворения новой религии, которое охватывало целиком Древнейший свод, сменяется у Никона — в новых политических обстоятельствах второй половины XI в. — тревогой за судьбу родины, раздираемой феодальными междоусобиями.

Свои политические устремления Никон выразил осторожно, поместив в свод завещание Ярослава Мудрого (памятник, возможно, апокрифический), в котором Ярослав просит своих сыновей быть «в любви межю собою» и не погубить «землю отец своих и дед своих, иже налезоща трудомь своимь великимь» (Лавр. л., 1054). Чтобы подчеркнуть единство княжеского рода, Никон внес в свой свод и легенду о призвании трех братьев варягов, записанную им на основании рассказов новгородца Вышаты Остромирича, с которым он встретился в Тмутаракани. Вышата побывал в Изборске и на Белоозере. Местные предания Изборска о родоначальнике кривических князей Труворе, новгородские предания о Рюрике и белоозерские о Синеусе Никон, заинтересованный в проведении идеи единства княжеского рода, объединил утверждением, что Рюрик, Синеус и Трувор были братьями, что они были варягами, якобы «призванными» для прекращения местных раздоров. Впоследствии под пером Нестора миф о призвании варягов оброс новыми домыслами.

Вместе с тем в новом своде Никона все сильнее начинают проявляться религиозно-церковное мировоззрение и аскетические идеалы монашества. Никон объясняет поражение и междоусобицы последних лет наказанием за грехи, с тревогой рассказывает о звезде с кровавыми лучами — предвестнице бед и т. д.

Местные интересы Печерского монастыря отразились в своде Никона включением в него под 1051 г. статьи «Чего ради прозвася Печерский монастырь».

Свод Никона был подвергнут основательной переработке в 1095 г. В этом своде окончательно оформилась центральная часть летописи в том ее виде, в каком она вошла впоследствии в Повесть временных лет. Это и позволило исследователям летописания назвать свод 1095 г. «Начальным».

Начальный свод проникнут тем же политическим настроением, что и предшествующий ему свод Никона. Междоусобия князей приняли к этому времени такой характер, что летописцу приходилось не только призывать к прекращению распрей, но обосновывать и само единство княжеского рода.

В обстановке распада Киевского государства автор Начального свода вступил на путь идеализации старых времен и старых князей, которые как бы противопоставлялись и ставились в пример новым. В первых русских князьях летописец больше всего ценит ратную доблесть и неутомимость в походах.

Характеризуя Святослава, летописец отмечает его суровый образ жизни, предприимчивость, подвижность и прямоту, с которым он предупреждал о себе врагов: «Хочю на вы ити». «Легько ходя, аки пардус [гепард], войны многи творяше,— говорит о нем летописец.— Ходя воз по себе не возяше, ни котля, ни мяс варя, но потонку изрезав конину ли, зверину ли, или говядину на углех испек ядыху, ни шатра имяше, по подьклад послав и седло в го-

ловах; также и прочии вои его вси бяху» (Лавр. л., 964). С особой любовью передает летописец краткие и энергичные обращения князей перед битвами к дружине. Неслучайно приведена речь Святослава к своей дружине перед обступившим ее вдесятеро сильнейшим врагом: «Да не посраим земле Руские, но ляжем костьми, мертвии бо срама не имем, аще ли побегнем, срам имем; и не имем убежати, но станем крепко, аз же пред вами поиду: аще моя глава ляжет, то промыслите собою» (Лавр. л., 971); лаконичен ответ дружины: «Идеже глава твоя, ту и свои главы сложим». Суровость воина, презирающего «злато и паволоки», подчеркивает летописец в рассказе о греческом испытании Святослава.

Побуждая князей к активной политике против степи, летописец в полных трагизма и скорби словах повествует о хищных набегах половцев, разорвавших страну, толпами уводивших в рабство население сел и городов. Печальные, с осунувшимися и потемневшими лицами, с ногами в путах, гонимые «незнаемою страною»,<sup>1</sup> мучимые жаждою и голодом пленники со слезами говорили друг другу: «Аз бех сего города», а другие: «Аз сея вси [села]».

Летописец Начального свода принадлежал к тем «смысленным мужам», которые видели несчастье Русской земли в распрях князей, головой пробивавших себе дорогу к киевскому столу, и не раз обращались к князьям с призывом: «Почто вы распря имате межи собою, а погании [язычники] губять землю Русьскую?» (Лавр. л., 1093).

В своде окончательно оформилась стилистика изображения воинских сюжетов, оформились военная терминология и широкие политические убеждения летописца, не укладывавшиеся в тесные рамки феодальной морали, феодальной верности и феодального вотчинного права; в то же время спокойная неторопливость и свежесть летописного рассказа все чаще перебивается дидактическими отступлениями, житийной стилистикой (в характеристике героев) и церковными мотивами.

Составитель Начального свода подчеркивал былое величие Русской земли, ее единство, необходимость соединенного наступления на степь. Но наряду с развитием больших патриотических идей он осветил и частные интересы Киево-Печерского монастыря, введя рассказы, связанные с его жизнью.

К концу XI в. появляются жития святых аскетов, сменившие первые жития святых-князей. Монашеские идеалы сильнее пробивают себе дорогу в литературе, основным центром которой стал теперь Киево-Печерский монастырь. Киево-Печерский монастырь не был свободен от политических и общественных тревог своего времени, однако, наряду с общегосударственными и общерусскими идеями литературы начала XI в., в его книжных трудах сильнее сказываются местные феодальные тенденции, интересы тех или иных политических группировок. Киево-печерские писатели нередко поднимаются до осознания общенародных интересов в целом, но при этом общенародная идея осложняется

<sup>1</sup> Ср. в Слове о полку Игореве «земля незнаема» — Половецкая степь.



у них то специально антипольской, то антивизантийской, то антикатолической тенденциями, приверженностью к той или иной политической группе, дробится и обессиливается среди побочных интересов и минутных тревожений.

Многие из произведений, вышедших из стен Киево-Печерского монастыря, являются памфлетами, в которых публицистический элемент, в отличие от прежних произведений начала XI в., связывается с нравоучительными и аскетическими тенденциями и грубой дидактикой.

Первоначальные жития, составлявшие в Киево-Печерском монастыре, не сохранились. Не дошел до нас один из первых опытов житийной литературы — Житие основателя Киево-Печерского монастыря Антония, ссылки на которое имеются в Повести временных лет и в Киево-Печерском патерике. Несколько отрывков из этого жития и указания, имеющиеся в Начальной летописи, позволили А. А. Шахматову чрезвычайно высоко оценить этот утраченный памятник. К концу XI в. относится деятельность черноризца Киево-Печерского монастыря Нестора. В 80-х годах XI в. (по предположению А. А. Шахматова) Нестором было составлено Чтение о житии и погублении Бориса и Глеба. Чтение это представляло собой приспособление жития Бориса и Глеба к нуждам богослужебной практики.

Нестор был писателем с ярко выраженным индивидуальным стилем. Он резко усилил в житии Бориса и Глеба его назидательные и церковные элементы, сделал более отвлеченным изложение, удалив из него весь конкретный исторический элемент. Идея Чтения — необходимость покоряться старейшим князьям. Нестор часто прибегает к риторике и заметно византизирует изложение, вводя в него традиционные в греческих житиях мотивы. Таким трафаретным сделано в Чтении детство Бориса, с юности зачитывавшегося священным писанием и житиями и мечтавшего принять «венец мученический». Может быть именно поэтому Чтение не получило такого распространения, как предшествующее ему Сказание об убиении Бориса и Глеба.

Значительно шире развернулся повествовательный талант Нестора в следующем его произведении — Житии Феодосия Печерского. Здесь Нестор остался верен своей ученой мало оригинальной книжной манере. Он ввел в житие Феодосия множество легендарных мотивов и литературных штампов. Автор следует обычным приемам церковной агиографии, главным образом жития Саввы Освященного, которому подражает особенно в изображении детства Феодосия и его борьбы с демонами. Многие подробности и эпизоды взяты Нестором и из других церковных житий и часто находятся в противоречии друг с другом. Так, например, Нестор рассказывает о том, что Феодосий был сыном простых родителей, следуя в этом обычным житийным трафаретам, подчеркивающим этим личные заслуги святого в делах благочестия, а немного далее рассказывает о родовитости и богатстве матери Феодосия, на этот раз уже для того, чтобы увеличить значение подвига Феодосия, отрешившегося от мира. Однако, несмотря на чрезмерную «книжность» жития, у Нестора имеются и

реально разработанные эпизоды и характеристики. Жизненный образ матери Феодосия — жестокой, гордой и упрямой, но в которой все эти качества побеждаются ее чрезвычайным чадолюбием, влекущим ее к постоянным унижениям и лишениям. Стиль жития характеризуют традиционные формулы и стремление отойти от живого русского языка к книжной старославянской речи.

В литературе второй половины XI в. происходит борьба между местными феодальными интересами и патриотическим сознанием единства Руси, между аскетическими, монашескими настроениями и потребностями сблизить литературу с политическими задачами живой для авторов современности. Нарастание первых как будто бы ведет к снижению значимости вторых. Но явление это было только временным.



Второй после эпохи Ярослава расцвет литературы древней Руси относится ко времени могущественного княжения Владимира Мономаха. Идеи Мономаха, выраженные в его собственных сочинениях, получили широкое распространение в летописи, отразились в описаниях паломничеств и в житиях, дожили до времени создания Слова о полку Игореве, заставляя автора его не раз обращаться за подкреплением своих положений к авторитету «старого Владимира» (Мономаха), и оставались действенными и прогрессивными вплоть до начала новой эпохи — создания национального государства.

Во главе литературы времен Мономаха стоит новый летописный свод — Повесть временных лет.

История создания этого величайшего памятника русского летописания чрезвычайно сложна и запутана. Здесь отложилась работа поколений русских книжников, сказались искания исторической мысли и сложное мировоззрение. Многочисленные литературные источники — устные и книжные, русские и иноземные (язык Повести то просторечный, близкий к разговорному, то книжный, пересыщенный славянизмами и грецизмами) — легли в основу единого грандиозного здания Повести. В создании Повести принимали участие две литературные школы — Киево-Печерская и Выдубицкая, по-разному понимавшие свои задачи, но удачно сложившие свои силы в произведении, отличающемся удивительной законченностью и цельностью архитектоники.

Повесть временных лет одновременно завершает определенный период киевского летописания и становится основой всех последующих летописей, в начале которых она обычно помещалась.

В 1110 г. монах Печерского монастыря Нестор<sup>1</sup> переработал Начальный свод 1095 г. К новому своду Нестор привлек византийский исторический

<sup>1</sup> Был ли Нестор-летописец и Нестор-составитель житий одним лицом — вопрос до сих пор еще не решенный.

материал: хронику Георгия Амартола, компилятивный Хронограф по великому изложению и др.

Нестор связал русскую историю с мировой, придав ей центральное значение во всемирно-историческом процессе. Программа летописца и его задачи точно сформулированы в самом названии Повести: «Се Повести времяных лет, откуда есть пошла Руская земля, кто в Киеве нача первее княжити и откуда Руская земля стала есть». Показать Русскую землю в ряду других европейских стран, показать, что русский народ не без роду и племени, что он имеет свою историю, которой вправе гордиться, — такова высокая цель, которую поставил себе составитель Повести. Повесть временных лет должна была напомнить князьям

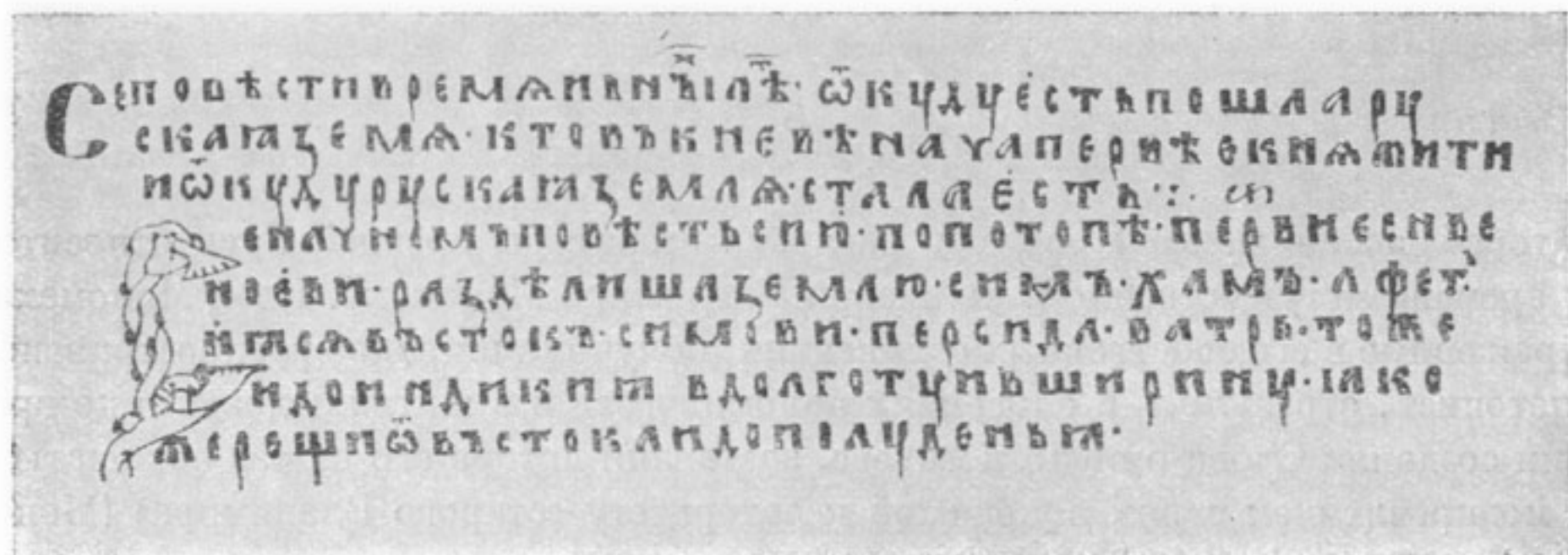


Рис. 36. Начало Повести временных лет по Лаврентьевскому списку летописи.

о славе и величии родины, о мудрой политике их предшественников и об исконном единстве Русской земли. Задача эта выполнена летописцем с необыкновенным тактом и художественным чутьем. Широкий замысел сообщил спокойствие и неторопливость рассказу летописца, гармонию и твердость его суждениям, художественное единство и монументальность всему произведению в целом.

Начало Повести временных лет посвящено событиям всемирной истории, предшествующим сложению Киевской державы. Летописец выводит Русь на мировую историческую арену, сообщая самые разнообразные сведения — географические, этнографические, культурно-исторические. Неторопливо раскрывает летописец ту историческую обстановку, в которой родилось Русское государство, рассказывает сперва о народах мира, затем о древнейших судьбах славянского племени и «словенского» языка. Просто и наглядно дает летописец географическое описание Руси, путей, связывающих ее с другими странами, с замечательной последовательностью начиная свое описание с водоразделов рек Днепра, Западной Двины, Волги. «Днепр бо потече из Оковьскаго леса, и потечеть на полъдне [юг], а Двина ис тогоже леса потечеть, а идеть на полунощье [север] и видеть в море Варяжьское; из того же леса потече Волга на



въсток, и вътечеть семьюдесять жерел в море Хвалисьское. Темже и из Руси может ити по Волзе в Болгары и в Хвалисы, и на въсток дойти в жребий Симов, а по Двине в Варяги, из Варяг до Рима, от Рима же и до племени Хамова. А Днепр втечеть в Понетьское море жерелом, еже море словоеть Руское...» (Лавр. л.). Далее летописец описывает древнейший быт русских племен, рассматривая их как единый народ, и не забывает при этом упомянуть о соседящих с ним мере, черемисах, муроме и мордве.

Чтобы придать особую значительность христианскому просвещению на Руси, Нестор включил в Повесть легенду о путешествии апостола Андрея через Русскую землю. Андрей благословил Киевские горы, а в Новгороде посмеялся банному обычаю: «Како ся мыють и хвоцются [хлещутся] молодыми прутьями и обливаются «квасом усниянымь». «И того ся добьютъ, егда влезуть ли живи и облеются водою студеною и тако оживуть». «И то творять мовенье себе,— прибавляет Андрей,— а не мученье» (Лавр. л.). В этом сочетании торжественного с комическим проявился подлинный художественный темперамент летописца, не боящегося заставить апостола произносить каламбуры.

Собственно русскую историю Нестор дополнил договорами русских с греками, включил легенды о сожжении Ольгою Искоростеня, о белгородском киселе и др. Летописный миф о призвании варягов под пером Нестора оброс новыми домыслами. Нестор вводит в действие несуществующее варяжское племя «Русь». Рюрик, Синеус и Трувор оказываются «Русью», а так как никакой «Руси» в Скандинавии XI в. не знали даже по преданиям, то Нестор заставил трех братьев явиться по приглашению словен, кривичей и прочих «поша по себе всю Русь». Противопоставляя Русь Византии, Нестор развил идею независимости Киева от Царьграда и приписал «заморское» происхождение первым русским князьям. Выведение генеалогии правящих династий из «за моря» и вообще из-за рубежа составляло, как известно, средневековую традицию.

Нестору, повидимому, принадлежит пересказ устного сказания о поединке юноши-кожемяки с печенежским богатырем на реке Трубеже «на броне, кде ныне Переяславль». Сказание описывает, как вызванные на единоборство русские тщетно искали поединщика, который смог бы противостать печенежскому богатырю, как затем начал «тужить» Владимир киевский, «сля по всем своем», и как, наконец, объявился «стар муж» и рассказал Владимиру о своем оставшемся дома меньшом сыне-кожемяке, который мог бы бороться с печенежином. Приведенный к князю неказистый на вид юноша просит предварительно испытать его, вырывает у разъяренного быка бок с кожей «елико ему рука зая», а затем побеждает в поединке превеликого и страшного богатыря-печенежина. Обрадованный Владимир заложил на месте поединка город, а скромного кожемяку сделал «великим мужем». В этом рассказе Повести временных лет впервые отразилась, ставшая затем излюбленным мотивом русской литературы вплоть до наших дней, мысль о скромности настоящего героизма, о силе народного духа в незаметных внешне героях. Невысокий ростом ремесленник,

пятый сын своего отца, которого даже не берут в поход, побеждает превеликого и страшного богатыря-печенежина.

Сведения о времени после 1093 г. (на котором кончался Начальный свод) даны были Нестором отчасти по личным воспоминаниям, отчасти по воспоминаниям его современников (например, Яна Вышатича), о чем свидетельствует рассказ о событиях 1096 г., когда половцы ворвались в Киево-Печерский монастырь, сожгли и разграбили его богатства.

Спустя короткий срок, в 1116 г., потребовалась новая переработка летописи. Причина, побудившая к этой переработке, заключалась в том, что Повесть, торжественная и патетичная вначале, не давала ответов на вопросы современной ей политики княжения Владимира Мономаха. Поэтому летописание было перенесено в Выдубицкий Михайлов монастырь, державшийся политической ориентации Мономаха. Сторонник Мономаха — Сильвестр — особенно придирчиво переработал последние летописные статьи с 1093 по 1110 гг., идеализировав Мономаха за его походы на половцев, за властную политику, за его ум и смелость.

Сильвестр не скупится приводить речи Мономаха, в которых последний призывал к единству перед лицом внешней опасности, к твердому отпору наступлению кочевников: «Почто губим Русьскую землю, сами на ся котору деюще, а Половци землю нашу несуть розно и ради суть, оже межю нами рати; да ныне отселе имемся по едино сердце и блюдем Русьские земли» (Лавр. л., 1097). С сочувствием передает Сильвестр возражения Мономаха дружине, не хотевшей идти в поход на степняков, чтобы не губить по весенней распутице лошадей смердов: «Дивно ми дружино,— говорит им Владимир,— оже лошади жалуете, ею же кто ореть [пашет]; а сего чему не промыслите, оже то начнет орати смерд, и приехав половчин ударить и стрелою, а лошадь его поймет, а в село его ехав иметь жену его и дети его, и все его именье. То лошади жаль, а самого не жаль ли?»

С тою же целью возвеличения Мономаха Сильвестром введен в Повесть драматичный рассказ поца Василия об ослеплении в междоусобной борьбе с родичами князя Василька теробовльского (Лавр. и Ипат. л., 1097). Множество бытовых подробностей и реалий делает этот рассказ одним из самых живых в летописи киевского периода. Подробно и не торопясь повествует поп Василий, как заманили Василька на именины, как постепенно оставили его одного в комнате, как схватили и схваченного везли затем на телеге в Белгород, где бросили в «истобку малу». Оглядевшись, Василько догадался, что хотят с ним сделать, стал кричать и плакать. Вошли конюхи, разостлали ковер и хотели повалить на него Василька. Василько отчаянно отбивался. Конюхи позвали подмогу, Василька схватили и связали, а затем сняли с печи доску, положили ему на грудь и сели по концам. Но Василько и тут сопротивлялся так отчаянно, что сняли с печи и вторую доску и придавили его «яко персем трескотати». Наточив нож, овчарь Святополк подошел и ударил им в глаза Василька, но сначала



промахнулся и перерезал ему лицо: «И есть рана та на Васильде и ныне; по семь же въвърте ему ножъ в око и изя зеницю, и по семь в другое око въвърте ножъ, и изя другую зеницю». Ослепленного, едва живого Василька снова взвалили на телегу и повезли во Владимир-Волинский. Трогательен путевой эпизод с окровавленной сорочкой Василька, которую ослепители, остановясь для обеда в Воздвиженске, дали постирать попадье. «Сего не бывало есть в Русьской земли ни при дедех наших, ни при отцех наших, сякого зла» — сказал ужаснувшийся при известии об ослеплении Василька Владимир Мономах и послал за Давидом и Олегом Святославичами сказать: «Поидета к Городцю, да поправим сего зла, еже ся створи се в Русьской земли и в нас, в брати, оже ввержен в ны ножъ: да аще сего не правим, то большее зло встанеть в нас, и начнетъ брат брата закалати, и погыбнетъ земля Руская, и врази наши, Половци, пришедше возмутъ землю Русьскую».

Возмущение моральной низостью современных летописцу русских князей и их раздорами составляет основную мысль летописи в описании феодального разброда конца XI в. Не было «сякого зла» в Русской земле, не такие были русские князья в прежние времена, не разоряли они население поборами, обороняли Русскую землю, советовались во всем со своею дружиною, в ладьях на холстинных парусах ходили на самую Византию, гнушались золотом и паволоками, любя одно оружие. «Отци ваши и деди ваши трудом великим и храбрствомъ, побарающа по Русьской земли, ины земли прискываху, а вы хотите погубити землю Русьскую» (Лавр. л.). В этом обращении к русским князьям в 1097 г. — ключ к историческим воззрениям на события своего времени не только составителя Начального свода, но и составителя Повести временных лет. «Есть и сейчас князья, подобные древнему Святославу — это Владимир Мономах: его держитесь», — как бы хочет сказать выдубицкий летописец.

В 1118 г. Повесть временных лет подверглась некоторой доработке, впрочем не очень значительной. Своим призывом на борьбу со степью, к прекращению междоусобий и к сплочению вокруг Владимира Мономаха выдубицкие летописцы внесли последний штрих в Повесть временных лет, сделав ее цельным и законченным памятником, точно отвечавшим на политические запросы своего времени. Возможно, что в том же Выдубицком монастыре в одну из редакций Повести временных лет было внесено и Поучение Владимира Мономаха.

Богатое многообразными литературными фактами время Владимира Мономаха ярче всего характеризуется произведениями самого Мономаха — талантливого и начитанного писателя. Сохранившееся в единственном списке Лаврентьевской летописи 1377 г. Поучение Мономаха свидетельствует о высоком уровне образованности в нецерковной светской среде.

В Поучении соединены два произведения: «грамотица» Мономаха своим детям («поучение» в собственном смысле этого слова) и послание Мономаха к князю Олегу Святославичу черниговскому, в котором он оплакивает своего сына Изяслава, убитого в 1096 г. под Муромом в сражении с войсками Олега,

и просит отпустить к нему захваченную сноху — вдову Изяслава: «Да с нею, кончав слезы, посажу на месте, и сядет акы горлица на сусе древе желеючи, а яз утешюся о бозе» (Лавр. л., 1096). В летописном тексте Поучение («грамотица») и послание к Олегу Святославичу не разграничены, и исследователи расходятся во мнении о том, где кончается одно и начинается другое. Также различны мнения исследователей и о том, когда написано Поучение («грамотица»). Вернее всего полагать, что Поучение детям написано Мономахом в преклонном возрасте, когда у него были к тому основания психологического и политического характера. Он подводит в нем итог не только своим «путям» (походам) и «ловам» (охотам), но и всему своему житейскому, государственному опыту.

Жанр посланий отцов к детям был широко распространен в средневековой литературе: в Византии (труд Константина Багрянородного «Об управлении империей» и др.), во Франции («Наставления» Людовика святого), в англо-саксонской литературе и т. д. В русской оригинальной литературе Поучению Мономаха хронологически предшествовало завещание Ярослава I к сыновьям (в летописи под 1054 г.). Однако послание Мономаха резко выделяется своею оригинальностью и художественностью. Поучение Мономаха дает один из весьма немногих образцов средневековых автобиографий, едва ли при этом не лучший. Этот автобиографический элемент, отсутствующий в средневековых «поучениях отца к сыну», вносит в произведение Мономаха конкретный, реальный материал, резко отличающий его от отвлеченных церковных поучений своего времени. Оно не имеет ничего общего ни с одним из известных нам «поучений». Мономах исходит из *собственного* житейского опыта, из опыта *русской* исторической действительности конца XI — начала XII вв., он пишет о событиях *собственной* жизни, обращается к *собственным* детям, учитывая *их* будущее, обращается к *русскому* читателю, полный заботы об интересах *своей* Родины. Русская действительность конца XI и начала XII вв., политическая деятельность Мономаха, его мировоззрение — вот те важнейшие данные, исходя из которых следует прежде всего оценивать Поучение.

Идеологическое содержание Поучения Мономаха не ограничивается призывом сыновей к единению и прекращению княжеских междоусобий. Идея борьбы с братоубийственным междоусобием заключена была еще в завещании Ярослава I: «Имейте в себе любовь, понеже вы есте братья единого отца и матере». Мономах дает в автобиографической части своего Поучения образ мужественного, деятельного, смелого и неутомимого правителя, печальника о Русской земле, который «ночь и день, на зною и на зиме, не дал себе упокоя». Мономах приглашает заботиться о смерде, о челяди, о «хрестьяных душах» и «убогих вдовицах», призывает к строгому соблюдению крестных целований, осуждает междоусобия и особенно пользование внешней помощью поляков и половцев, которых наводили князья на Русскую землю для решения своих династических споров. «Не давайте сильным погубити человека». — пишет Мономах в Поучении и вме-



сте с тем приглашает не лениться в учении, не лениться в дому своем и на молитве, не лениться «на войне и на ловех». «На войну вышед, не ленитесь, не зрите на воеводы; ни питью, ни еденью не лагодите, ни спанью; и стороже сами наряживайте, и ночь, отвсюду нарядивше около вой тоже ляжите, а рано встанете; а оружья не снимайте с себе вборзе, не розглядавшя, ленощами внезапно бо человек погыбаеть» (Лавр. л., 1096). Таков своеобразный воинский устав Мономаха.

Политическая программа Мономаха находит себе объяснение в событиях его времени. Мономах после восстания 1113 г. стремился к смягчению ожесточенной феодальной эксплуатации, к установлению на Руси твердой и единой великокняжеской власти и к активному наступлению на степь.

Мономах описывает в Поучении свои «пути» и «ловы», т. е. военные и охотничьи подвиги, всюду, наряду с христианским идеалом воздержания от греха, молитвой, уважением к старшим и духовным лицам, проповедуя идею деятельной жизни, неустанного труда, отваги и энергичной защиты интересов своего народа. «А из Чернигова до Кыева настижьды [около 100 раз] ездих ко отцю, днем есмъ переездил до вечерни; а всех путей 80 и 3 великих, а прока [остатка] не испомню менших. И миров есмъ створил с Половечьскими князи без одного 20... А се тружахъся ловы дея... конь диких своимъ рукама связал есмъ в пущах 10 и 20... Тура мя 2 метала на розех и с конем, олень мя один бол... вебрь ми на бедре мечь оттял... лютый зверь скочил ко мне на бедры и конь со мною поверже...» (Лавр. л., 1096). Реальным изображением княжеского поведения — походов, сражений, охот, заключений договоров и т. д. — Мономах дополнил свои дидактические наставления: дал нарочитый образец для подражания.

Мономах не стремился дать в своем Поучении законченную автобиографию или законченный автопортрет, но излагал лишь примеры из своей жизни, которые он считал поучительными и в которых постоянно подчеркивается их общественно-идейная сторона. В этом умении выбрать в своей жизни то, что представляло не личный, а гражданский интерес, заключается замечательное своеобразие автобиографии Мономаха.

Мономах сознательно устраняется от попыток самооправдания и не переходит в тон «исповеди». Образ Мономаха выступает в Поучении как бы помимо его воли, чем достигает особенной художественной убедительности. Приводимые Мономахом автобиографические эпизоды отличаются суровой объективностью и отлично согласуются с характеристикой, которую дает ему и сама летопись.

Простота и сжатость литературного стиля и широкие общенародные идеи сообщают Поучению ту летописную монументальность и вместе с тем непосредственность, которые делают его одним из самых привлекательных литературных произведений XI в. В противоположность церковным житиям средневековья и отвлеченным поучениям своего времени произведение Мономаха давало жизненный идеал князя-политика, государственного мужа и хозяина, отвечало на непосредственные запросы русской жизни. Можно предполагать,

что Поучение имело значительный отклик в русской действительности. Неслучайно Владимир Мономах был впоследствии идеализирован русской летописью.

Времени Мономаха принадлежит первое из дошедших до нас описаний паломничеств — Хождение Даниила. Средневековые паломничества в «святую землю» имели существенное познавательное значение, способствовали международному обмену культурными ценностями, приучали к терпимости и развивали в паломниках национальное чувство.

Хождение Даниила описывает путь через Царьград в Палестину тотчас же по завоевании ее крестоносцами, морское путешествие, Ефес, остров Кипр... Повидимому, Даниил вел в пути заметки, которые затем обработал. Замечательной чертой Даниила является отсутствие в нем каких бы то ни было местных тенденций. Всюду, куда он ни попадает, он чувствует себя представителем всей Русской земли в целом. Он называет себя «русския земли игуменом», ставит «кандило» «от всея русьския земли», отличается терпимостью к чуждым верованиям (латинству и магометанству) и умеет всюду внушить к себе уважение, не вмешиваясь в распри сарацин и крестоносцев. Даниил свел знакомство со «старейшиной срациньским» и иерусалимским королем Балдуином I фландрским (1110—1118) и побывал там, куда не пускали других.

Описания Даниила отличаются большой точностью и добросовестностью, почему его Хождение привлекало особый интерес историков и археологов XIX в. и было переведено на иностранные языки. Внимание Даниила привлекают не только религиозные достопримечательности, — он наблюдает торговлю, быт и земледелие. На острове Ахии «рождается мастика и вино доброе и овощ всякий», на Фаворской горе Даниил отмечает «смоковь, рожьци и масличие много зело», на горе Хевроне «земля благословенна есть... пшеницею, и вином, и маслом, и всяким овощом обильна есть зело, и скотом умножена есть». В окрестностях Иерихона «земля добра и многоплодна, и поле красно и ровно, и около его финици мнози стоят висоци, и всякая дрeвеса многоплодовита суть». Хозяйственный глаз Даниила виден в точных указаниях им расстояний между отдельными местностями, размеров зданий и т. д. В рассказы Даниила о священных местах и предметах обильно введен апокрифический и легендарный материал, местные легенды и т. п.

Всюду, где он только может, Даниил стремится проверить чудесный элемент Библии на материальных памятниках. Он пытается убедиться в реальности событий священной истории, собирает сведения об одежде, привычках, жилищах действующих лиц Библии. Даниил видел камень, под которым лежит «глава первозданного Адама», «пуп земли в Иерусалимском храме», «дуб Мамврийский» и т. д. Все это показывали ему палестинские «гиды». Этот примитивный «материализм» Даниила, наряду с чрезвычайным чистосердечием и искренностью, составляет замечательную черту его Хождения.

Наши представления о литературе времени Мономаха далеко не полны, но и то, что мы знаем, свидетельствует о том широком и разнообразном пути, на



который вступила в это время культура древней Руси, черпавшая свои идейные силы в защите общенародных интересов, в идее единения перед лицом внешней опасности.

В литературе этого периода нет той стройности и торжественной самоудовлетворенности, которая была в литературных произведениях времени Ярослава, но она ближе к русской жизни, она разнообразнее, как разнообразнее были и запросы эпохи, она беспокойна и тревожна, как тревожны были события того времени. Любовь к родине теснее связывается с конкретными заботами об общенародных интересах и ярче всего проявляется в публицистических выступлениях летописи.

В XII в., все усложняясь и углубляясь, идет процесс постепенного подчинения литературы местным интересам. В XI в. русская литература была по преимуществу литературой Киева и отчасти Новгорода. Теперь же, в XII в., создаются местные литературные школы в Турове, Смоленске, Галицко-Волынской области, Владимиро-Суздальской Руси и т. д. В литературу широкой струей вливаются особенности говоров, в ней сказываются бытовые различия, местные интересы, порой все более сильно ощущаются церковные, аскетические настроения. Внимание учительной литературы — проповеди, поучений и т. д. — сосредоточивается главным образом на отвлеченных истинах веры и благочестия. Политические тенденции, проникающие в литературу, приобретают более узкий, местный, а иногда и личный характер, свидетельствующий о яростной феодальной борьбе. Литература редко поднимается до осознания общегосударственных интересов за исключением летописи, крепкие традиции которой долго еще будут сдерживать напор областнических настроений.

К числу писателей, отразивших в себе типические особенности литературы XII в., относится Кирилл Туровский, уроженец города Турова, в первую половину своей жизни аскет-столпник, во вторую — деятельный политик и церковный администратор. Кириллу, которого впоследствии называли «русским Златоустом», с течением времени было приписано чрезвычайно много произведений, что значительно затрудняет определение его литературного наследия. Однако и то, что несомненно может быть присвоено Кириллу, рисует его плодовитым и деятельным писателем. Повидимому, Кириллу принадлежат восемь поучений, связанных с церковными днями: Поучение в неделю ваий, на пасху, в фомину неделю, в неделю о мироносицах, в неделю о расслабленном, в неделю о слепом, на вознесение, на «собор 318 отец». Кроме того, Кириллу принадлежит Поучение о слепце и хромце и ряд гимнографических сочинений. Из жития Кирилла известно, что им было написано еще обличение ереси о «субботном



посте» ростовского епископа Федора, что он находился в переписке с Андреем Боголюбским и т. д., но произведения эти не сохранились.

В проповедях Кирилла Туровского блестящая форма доминирует над содержанием, над идейностью произведения. Кирилл Туровский часто прибегает к утонченным приемам византийских проповедников: к аллегориям, противопоставлениям, сравнениям, уподоблениям, вопросно-ответной форме изложения, оживляет проповедь введением пространных диалогов и монологов, стремится к ритмичности и плавности речи. Благодаря своим внешним достоинствам произведения Кирилла переписывались древнерусскими книжниками наравне с сочинениями самых знаменитых ораторов и богословов.

Кирилл — образованный проповедник. Проповеди Кирилла показывают глубокое знакомство его с церковной литературой и греческим языком. Своим образованием Кирилл пользуется в полной мере, иногда даже до излишеств. Однако в произведениях его отсутствуют широта Слова о законе и благодати Илариона, бытовые моменты, черты эпохи. Он варьирует в проповедях лишь традиционные церковные темы — иногда прославление какого-либо церковного события, иногда отвлеченно-назидательное поучение.

Единственный известный нам случай, когда Кирилл откликнулся на события современной ему жизни, находится в Поучении о слепце и хромце. Обличения на «сановников и буюв во переих», которые встречаются в этом Поучении, были прямо направлены против Андрея Боголюбского и епископа ростовского Федора. Поучение рисует Кирилла как активного участника феодальной борьбы, однако не поднявшегося до осознания общегосударственных и общенародных интересов.

Климент Смолятич, другой знаменитый проповедник XII в., повидимому, во многом схож с Кириллом Туровским. Летопись сочувственно характеризует Климента: «Бысть книжник и философ так, яко же в Руской земли не башеть». Климент был вторым, после Илариона, митрополитом русским, поставленным вопреки воле константинопольского патриарха. Византийская церковь цепко держалась за право ставить на Руси своего митрополита-грека, и поэтому избрание Климента собором русских епископов, подобное избранию за столетие перед тем Илариона, не могло не восприниматься как торжество антивизантийской, русской политики. Однако на этот раз русские епископы не были так единодушны в своем решении, как во времена Ярослава. Многие из них стали на сторону византийской церкви, а сам Климент Смолятич, в отличие от Илариона, не выразил в своих произведениях ни широких общегосударственных идей, ни глубокого понимания действительности.

От Климента, которого его противники обвиняли в излишнем пристрастии к «Омиру» (Гомеру), Аристотелю и Платону, сохранилось лишь единственное послание — литературная защита символического толкования священного писания и связанных с этой манерой ораторских приемов проповеди, типичных для современной Клименту византийской школы экзегетов. Послание это,

адресованное пресвитеру Фоме, показывает наличие в Киевской земле споров о предпочтительности тех или иных литературных приемов и свидетельствует о существовании в ней различных литературных школ и утонченной писательской культуры. Однако, наряду с защитой схоластических принципов «приточного» — символического способа толкования Библии, Климент в том же послании оправдывается от обвинений своих политических противников, проявляя себя как участник политической борьбы, которую он вел. однако, подменяя идейный пафос борьбы личным.

Начиная с середины XII в., процесс феодального обособления земель ведет к усиленному дроблению и летописания между отдельными областями. В этих областных летописях отлагаются местные черты и особенности, местные литературные манеры. Еще в XI в. некоторые города вели свои летописные записи, однако только в XII в. вполне оформляются характерные черты областных летописей.

Повесть временных лет обычно помещалась в начале областных летописей. Благодаря Повести, каждая из летописей XII в., будучи областной, не переставала вместе с тем быть летописью русской. Повесть временных лет служила к ним как бы политическим введением, была программой единения Русской земли, воспитывала читателя в этом чувстве. В местной летописи древнерусский читатель видел как бы продолжение рассказа Повести о распрях князей, крамолами разорвавших Русскую землю.

Не многие из областных летописей отличаются такими художественными достоинствами, как Галицко-Волынская, содержание которой преимущественно связано с сложной и запутанной историей борьбы феодалов. «Начнем же сказати бесчисленныя рати и великыя труды и частыя войны и многия крамолы и частая востания и многия мятежи...» (Ипат. л., 1227) — в этом вступлении не только программа летописания, в нем и мировоззрение летописца, воспринимавшего историю родной страны как нескончаемую цепь крамол и бедствий.

В Галицко-Волынской летописи нет размаха и широкого замысла летописца Повести временных лет, но в деталях, в языке и в стиле, в непосредственном ощущении бедствий своей Родины она достигает иногда значительной высоты. В мелких, казалось бы незначительных, эпизодах, летописец умело передает дух своего тревожного времени, черты эпохи. Летописец с увлечением описывает военные события: иногда как очевидец и почти всегда как современник.

В Галицко-Волынской летописи сложились традиции книжной цветистой поэтической речи с отголосками народной поэзии: жители Галича устремляются к своему князю, «яко дети ко отцю, яко пчелы к матце, яко жажюци воды ко источнику». Не чужда она и некоторой идеализации своих героев: «Бе бо дерз и храбор, от головы и до ногу его не бе на нем порока», — характеризует летописец молодого князя Даниила Романовича, первым врубившегося в ряды татар в битве при Калке. Красочно описывает летописец вооружение ратников:



«Щит их яко заря бе, шелом же их яко солнцу восходящу». Довольно часты на страницах летописи пословицы: «Не погнетши [подавив] пчел меду не едать», «един камень много горньцев [горшков] избиваетъ» и др. Отдельные черты стиля Галицко-Волынской летописи сближают ее со Словом о полку Игореве.

Галицко-Волынская летопись умеет «без гнева» и раздражения оценивать достоинства врагов, понимать их культуру и поэзию. С удивительной бережливостью Галицко-Волынская летопись донесла до нас половецкую легенду о степной траве евшан полыни (1201), тонко передающую поэзию благоуханной половецкой степи.<sup>1</sup> В этой легенде с замечательной остротой и сочувствием передана тоска по родине половецкого хана Отрока, вспомнившего родные степи по запаху полыни. Ни уговоры, ни половецкие песни не могли вначале заставить Отрока вернуться на родину из Абхазии, где он прижился, но когда «гудец», певший ему половецкие песни, протянул понюхать евшан-полынь, Отрок заплакал и сказал: «Лучше лечь костями на своей земле, чем быть славну на чужой».

В отличие от летописания других областей, Новгородская летопись обладает чрезвычайной деловитостью и лапидарностью стиля, близостью языка к бытовому просторечию и деловой, юридической прозе. Летописные своды — торжественные обозрения предшествующей истории, литературно обработанные и снабженные вставными произведениями, — редки в новгородском летописании. Стиль Новгородской летописи точно следует погодным записям, систематически и непрерывно ведшимся при новгородском владычном дворе в новгородском детинце. От этого Новгородская летопись богата фактическим материалом и исключительно точна в приводимых ею сведениях.

Особенное развитие Новгородская летопись получила после переворота 1136 г. при энергичном реформаторе новгородских порядков архиепископе Нифонте, когда были составлены работы подготовительного к летописанию характера (монахом Кириком). Остроумная догадка, высказанная еще в середине XIX в. археологом Д. И. Прозоровским, сопоставившим в новгородской Синодальной летописи две записи — одну 1144 г., где летописец говорит о своем поставлении в попы новгородской церкви Якова, и другую — 1188 г., где говорится о смерти попа церкви Якова Германа Вояты, служившего в церкви Якова «польпятдъсят лет» (т. е. с этого самого 1144 г.), позволила установить имя одного из реформаторов новгородского летописания XII в. — Германа Вояты.

Круг интересов новгородского летописца середины XII в. замкнут по большей части пределами родного города. Не мудрствуя лукаво, новгородский летописец заносит в летопись известия об утонувших в Волхове попах, сообщает об унесенных разливом Волхова дровах и сене, о слышанном им зимою «в истьбе сидяще» гrome и даже о собственном поставлении в попы. Он рассказывает

<sup>1</sup> Легенда эта легла в основу стихотворения А. Майкова «Емшан».

о всякого рода городских происшествиях и раздорах, о затянувшейся дождливой осенней погоде и выпавшем «яблоков боле» граде. Летописца интересует, сколько стоил «воз репы» либо «кадка малая» жита. Все это изложено летописцем довольно крепким и последовательным просторечием: то он рассказывает, как посадника Якуна раздели «яко мати родила» и скинули с великого моста, то сообщает о том, что тверичи, грома Торжок, одирали жен и девиц «до последней наготы, рекше до срачицы [рубашки]».

В начале XIII в. происходит новый перелом в Новгородском летописании: значительно расширяется обычная тематика летописных записей. Летописца начинают интересовать события вне стен его родного города. Появляются сведения о событиях южнорусских, до того почти совершенно отсутствовавшие в Новгородской летописи. Этот интерес летописца возникает в связи с политической новгородского князя Мстислава Удалого, вмешавшего Новгород в дела северо-восточных княжеств.

Краткость, сила и выразительность прямой речи составляют замечательную особенность Новгородской летописи этой поры. Лаконизм, образность, почти пословичность отличают речи Новгородской летописи. Сильна и выразительна угроза князя Юрия новгородским послам, которой он, стоя с войском в Твери, подкрепил свое требование выдать своих недругов: «Не выдадите ли, а я поил есмь коне Тхверью, а еще Волховомь напою» и ответ новгородцев: «Княже, кланяемьтися,— братьи своей не выдаваем, а крѣви не проливай; паки ли твой мець, а наше головы» (1225). Таковы же энергичная речь Мстислава Удалого, сказанная им на вече против Ярослава, пытавшегося перенести центр новгородской торговли в Торжок: «Да не будет Новый Търг Новгородом, ни Новгород Тържькомь, нѣ кѣде святая Софѣя — ту Новгород», и ответ князя Ярослава новгородцам, глубоко вторгшимся в пределы Суздальской земли: «Мира не хотим, а мужи у меня; а далече есте шли и вышли есте аки рыбы на сухо».

Дух новгородского веча, умение задеть чувствительные стороны вечевого толпы, легко воспринимаемая поговорочная форма, в задачу которой входило привлечь сторонников и объединить их крылатой формулой,— все это составляет типическую черту прямой речи в Новгородской летописи.

Не вполне выяснено происхождение помещенной в Новгородской летописи под 1204 г. Повести о взятии Царьграда крестоносцами, в которой многое заставляет предполагать об ее новгородском происхождении. Автор Повести подробно, как очевидец, описал разгром Константинополя полчищами западноевропейских крестоносцев, варварское уничтожение и разграбление предметов искусства и пространно и деловито, в обычном летописном стиле, изложил предшествующую погрому историю Византии.

Константинополь издавна притягивал к себе новгородцев, которые, стремясь к церковной самостоятельности, пытались завязать непосредственные отношения с константинопольским патриархом в обход киевского митрополита. Привлекал



к себе новгородцев Константинополь и как центр искусств, внимание к которым характеризует новгородскую литературу. Из Константинополя новгородцы порой приглашали к себе зодчих и живописцев.

Начиная с XI в. и кончая XV в., в Константинополь направлялись многочисленные паломнические группы. До нас дошло несколько описаний Царьграда и путеводителей, из которых первое принадлежит знатному новгородцу — Добрыне Ядрейковичу, бывшему впоследствии епископом новгородским под именем Антония. Добрыня путешествовал в Царьград может быть даже для приглашения в Новгород византийских мастеров около 1200 г. и оставил Сказание мест святых в Цареграде.

Наряду с религиозными достопримечательностями Добрыня интересуется в Константинополе зданиями и произведениями искусства. Изложение его Хождения суше и деловитее, чем Даниила. Как русский, Добрыня с гордостью отметил в Константинополе почитание русских святых Бориса и Глеба, упомянул о блюде княгини Ольги в храме Софии, отметил находившихся с ним одновременно в Константинополе русских. Так же, как и книга Даниила, Сказание мест святых в Цареграде Добрыни дает, благодаря своей точности и обстоятельности, исключительно ценный для археологов материал.

В отличие от Даниила Добрыня всюду остается новгородцем.

Сильнее всего идейные и художественные традиции летописи XI — первой четверти XII в. сказались в летописании киевском, сосредоточившемся в XII в. в Выдубицком монастыре — том самом, в котором создались последние редакции Повести временных лет.

Выдубицкий летописец XII в. попрежнему призывает к единению, к верности старшему князю, к активному сопротивлению половцам, отличает князей, которые не радуются междоусобному кровопролитию и вместе с тем проявляют личное бесстрашие в битвах с половцами. Военская тематика и рыцарская мораль занимают значительное место в летописи. Княжой Выдубицкий монастырь в центр исторического повествования ставит биографии киевских князей, в кратких характеристиках которых проявляется особая сила летописи. Лучшая из таких княжеских биографий посвящена Изяславу Мстиславичу: повидимому, она досталась летописцу уже в готовом виде.

Усиливающийся церковный колорит Киевской летописи не делает, однако, ее излишне однообразной, от чего не всегда был избавлен другой значительный памятник киевской литературы — Киево-Печерский патерик.

К 20-м годам XIII в. относится возникновение основной части Киево-Печерского патерика — посланий епископа суздальского и владимирского Симона печерскому монаху Поликарпу и Поликарпа — печерскому игумену Акидину. Симону принадлежит, кроме того, Слово о создании церкви Печерской, пространный рассказ о «чудесных» обстоятельствах построения главной монастырской святыни — Успенского собора. Сказание повествует о чудесном происхождении средств на построение церкви, о чудесном указании места, где

она должна была быть построена, о чудесной присылке богородицей мастеров-зодчих и иконописцев из Константинополя и о чудесном указании «меры» церкви, при помощи которой должен был быть разбит ее план. «Чудеса» сопровождают построение церкви и ее освящение в 1089 г. Сказание подводило итог устным рассказам, которые должны были внушить мысль об особой святости Печерского монастыря — центральной святыни Русской земли. И действительно, если в XI в. Новгород и Полоцк обзаводятся, по примеру Киева, соборами Софии, то в XII в. под впечатлением рассказов и легенд о печерской церкви строятся по ее «образцу» соборы в Ростове, Смоленске, Старой Рязани, Суздале, Владимире-Волынском и Владимире на Клязьме (см. гл. 8).

Послание Симона Поликарпу написано в обличение «санюлюбия» последнего. Поликарп был недоволен своим положением простого монаха в Печерском монастыре и домогался различными путями епископского места. Симон советовал Поликарпу оставаться монахом Печерского монастыря, уверяя его, что «един день в дому божия матере [т. е. в Печерском монастыре] паче тысяща лет». Для наглядного доказательства почетности его местопребывания в конце своего послания Симон приводит 9 рассказов о Печерском монастыре, каждый из которых должен был свидетельствовать о степени святости этого места.

Следующее затем послание Поликарпа Акиндину, как бы написанное в ответ на послание Симона, содержит 11 рассказов о печерских монахах. Возможно, что в число этих рассказов входят и последующие прибавления, но основная часть их, несомненно, принадлежит 20-м годам XIII в.

Рассказы Симона, а в особенности Поликарпа, полны бытовыми подробностями, живо рисуящими жизнь Печерского монастыря. В них получили отражение различные ремесла, которыми занимались печерские монахи, монастырская торговля (солью, хлебом) и монастырская политика. «Чудеса» происходят то в келье иконописца, то в пекарне, то у гробовщика. Один из монахов заставил бесов ворочать жернова и молоты на себя пшеницу; другой принудил их таскать в гору с берега Днепра бревно.

Большой выразительности достигают в рассказах диалоги, близко стоящие к диалогам летописи. Патерик отражает ее язык и стиль. Переплетающаяся с бытом фантастика придает рассказам занимательность и сюжетное разнообразие. В них изображаются исторические события и лица. В годы феодальной раздробленности патерик живо напоминал своим читателям об историческом прошлом родины, о Киеве XI в., способствуя тем самым сохранению идеи единства Русской земли.

Рассказами патерика увлекался впоследствии А. С. Пушкин, отмечавший в них «прелесть простоты и вымысла» (письмо к Плетневу от 1831 г.).

Сравнительно поздно возникает новый центр летописания на северо-востоке Руси.

Непосредственное продолжение Повести временных лет — епископский летописец Переяславля-южного и отчасти местный летописец Ростова легли



в основу первого Владимирского свода 1177 г., начатого по воле Андрея Боголюбского при главном храме Владимирского княжества — владимирском Успенском соборе. Смерть Андрея Боголюбского прервала выполнение этого свода, но ненадолго.

В 1193 г. при Всеволоде «Большое Гнездо» на основе нового пересмотра предшествовавшего владимирского летописания по летописи Переяславля-южного (на этот раз княжеской, а не епископской) составляется владимирский великокняжеский свод.

Составление обоих владимирских сводов конца XII в. было связано с новыми внешнеполитическими притязаниями владимирского князя (см. т. I, Введение). Притязания эти потребовали коренного изменения обычной летописной схемы русской истории: Владимир становится в центре летописания, которое, что особенно важно, приобретает общерусский характер.

Владими́ро-Суздальская летопись сильнее, чем какая бы то ни было другая, отразила церковные аскетическо-монашеские интересы летописца. Летописец часто пользуется цитатами из священного писания, прибегает к правоучениям, дидактике, моральным сентенциям, иногда не в меру многоречив и риторичен. Нередко летописец перебивает свое повествование риторическими отступлениями, заимствуя отрывки из проповедей и поучений, а иногда перенося и приспособляя к своему изложению отдельные куски из предшествующего летописания.

Временами во Владимиро-Суздальской летописи встречаются яркие картины феодальной жизни: предательства, злодейства, убийства, нарушения клятв, восстания и междоусобия, в изображении которых владимирский летописец обнаруживает вкус и темперамент художника.

Один из лучших владимиро-суздальских летописных рассказов — повесть об убиении Андрея Боголюбского. Это, собственно, типичное житие, но рассказанное с подробностями очевидца. Живой диалог и драматично изображенное сопротивление Андрея Боголюбского убийцам делают повесть одной из самых ярких в литературе второй половины XII в.

Церковная настроенность владимиро-суздальского летописца не отвлекает его, тем не менее, от мирских забот. Он — деятельный сторонник сильной княжеской власти. Свою книжную начитанность летописец постоянно использует для прославления, пропаганды и освящения церковным авторитетом власти князя. В характеристиках владимирских князей летописец прибегает к житийному стилю, приписывает князьям чисто монашеские добродетели, во всем оправдывает их и расточает им гиперболические похвалы. Действия князей объясняются летописцем благочестивыми мотивами, а победы их — божественной помощью.

Под 1206 г. — временем отъезда Константина, сына владимирского князя Всеволода, в Великий Новгород — летописец обильно приводит выдержки из священного писания, чтобы подкрепить ими авторитет княжеской власти. Летописец как бы напутствует Константина перед отъездом его в город, издавна

стремившийся освободиться от власти князя. «Власти мирьские от бога вчинены суть», «[князь] богу слуга есть, мьстя злодеем» и т. д. Вручая Константину крест и меч, Всеволод говорит ему: «Се [крест] ти буди охраньник и помощник, а мечь прещение и опасенье, иже ныне даю ти пасти люди своя от противных».

Те же сентенции о сильной и нелюбезной княжеской власти находим мы и под 1194 г.: «Князь бо не туне мечь носить, в мечь злодеем, а в похвалу добро творящим», «судя суд истинен и нелюбезен, не обинуя лица сильных своих бояр, обидящих меньших и работающих сироты и насилье творящих» и т. д.

Суровое морализирование, восхваление твердой, а главное справедливой «правый суд судящей» власти, способной подавить бояр, «обидящих меньших», — это не случайные особенности владими́ро-суздальской княжой летописи, идеологически обосновывавшей реальные притязания владимирских князей.

В начале XIII в. характер Владимирской летописи становится более светским. Замечательна та реформаторская работа, которую проделал летописец во Владимирском своде 1212 г., составленном по воле князя Юрия — сына Всеволода «Большое Гнездо». По верному наблюдению исследователя владими́ро-суздальского летописания М. Д. Приселкова, составитель свода 1212 г. значительно модернизировал церковную лексику предшествовавших сводов 1177 и 1193 гг., заменив устаревшие и малопонятные слова более понятными: «утопе» — «утопул», «крънеть» — «купить», «комони» — «кони», «ядо» — «снеть», «двое чады» — «двое детей» и т. д. Изменяя лексику и отбрасывая чрезмерно церковную окраску предшествующего владимирского летописания, составитель свода 1212 г., однако, ни в чем не изменил исторической схемы и летописной идеи своих предшественников.

Владимирская летопись не единственная летопись северо-восточной Руси: параллельно ей существовала летопись Ростовская; из свода 1212 г. возникла летопись Переяславля-Залесского.

Каждая из областных летописей XII — начала XIII в. по-своему подхватила отдельные стороны общего им всем источника — Повести временных лет, — но сильно сузила его идейное богатство, широкое русло его политических интересов. Галицко-Волынская летопись развивает поэтическую и эмоциональную сторону киевского летописного стиля, но дробит повествование описаниями мелочей и тягот феодального быта; Новгородская летопись замкнулась в узком кругу городских, вечевых, а иногда и обывательских интересов; Киевская летопись меньше всего внесла нового, постепенно растрчивая старое. В противоположность всем им Владимиро-Суздальская летопись — сухая, официальная, торжественно-церковная — была летописью одной политической тенденции, одной идеи — единой и сильной власти владимирского князя.

Литература второй половины XII — начала XIII в. дробится между множеством областей и обилием противоречивых тенденций. Киев, Владимир, Новгород, Смоленск, Туров, Галич и Владимир-Волынский — каждый из этих городов составляет самостоятельный литературный центр. Идеи, значительно



опережающие эпоху, борются в литературе с усилением областнических тенденций, народная стихия — с рафинированной книжной культурой. В любом из литературных произведений второй половины XII в. мы сталкиваемся с удивительным разнообразием словаря, со сложными литературными традициями, иногда с образами народной поэзии и всегда с устойчивыми местными особенностями стиля и языка. Эта пестрота школ, стиля, традиций, жанров — своеобразное отражение феодального дробления в литературе — была связана с другой характерной чертой XII в.: интенсивным влиянием на утонченную культуру верхов русского общества многовековой местной народной культуры. Именно эта последняя черта с особенной резкостью сказалась в *Слове о полку Игореве* — произведении, соединившем в себе лучшие стороны древней русской литературы, проникнутом горячим чувством любви к Родине как к единому целому.

К концу XII в. определилась слабость враждующих русских княжеств, созрела идея необходимости согласованного отпора степи. Эта идея, лежавшая в основе некоторых русских летописных сводов и начавшая было угасать во второй половине XII в., лучшее и наиболее художественное свое выражение получила вне летописи.

К 1187 или 1188 гг. относится создание величайшего произведения древней русской литературы — Слова о полку Игореве.

Рукопись Слова была найдена в конце XVIII в. известным любителем и собирателем русских древностей А. И. Мусиным-Пушкиным в сборнике светского содержания, включавшем в свой состав Девгениево деяние, Повесть об Акире, Повесть об Индийском царстве и др.

С Слова снята была копия для Екатерины II, предполагавшей воспользоваться ею для своего исторического труда. В 1800 г. Слово было издано Мусиным-Пушкиным в сотрудничестве с его учеными друзьями: А. Ф. Малиновским, Н. Н. Бантыш-Каменским и Н. М. Карамзиным. В 1812 г. сборник, включавший в свой состав Слово о полку Игореве, сгорел в московском пожаре вместе с домом Мусина-Пушкина.

В начале XIX в., когда состояние филологической науки было весьма низким, а в истории было широко распространено представление о низком уровне культуры древней Руси, высокие поэтические достоинства Слова послужили поводом для всякого рода сомнений в его подлинности. П. П. Румянцев считал его сочиненным в XVIII в.; митрополит Евгений Болховитинов относил его к XV—XVI вв.; Каченовский и Сенковский видели в нем произведение, написанное в конце XVIII в. в подражание Оссиану.

В дальнейшем, с развитием русской исторической науки и изучения истории русского языка, подлинность Слова не могла уже возбудить сомнения серьезных



ИРОИЧЕСКАЯ ПѢСНЬ

О

## ПОХОДЪ НА ПОЛОВЦОВЪ

УДѢЛЬНАГО КНЯЗЯ НОВАГОРОДА-СѢВЕРСКАГО

### ИГОРЯ СВЯТОСЛАВИЧА,

писанная

СТАРИНЫМЪ РУССКИМЪ ЯЗЫКОМЪ

ВЪ ИСХОДѢ XII СТОЛѢТІЯ

съ переложеніемъ на употребляемое нынѣ нарѣчіе.

МОСКВА

Въ Сенатской Типографіи,

1800.



СЛОВО

ПѢСНЬ

О ПЛЪКУ ИГОРЕВѢ, (а) О ПОХОДѢ ИГОРЯ,

ИГОРЯ СЫНА

СЫНА СВЯТОСЛАВОЗА,

СВЯТЪСЛАВЛЯ,

ВНУКА ОЛЬГОВА.

ВНУКА ОЛЬГОВА.

*Не лѣлоли ны бяшетъ, бра-  
тѣ, насыти старми сло-  
еесы трудныхъ лоевѣстей о  
лѣлку Игоревѣ, Игоря  
Святъслава вѣта! нача-  
ти же ся той лѣснн ло*  
Прѣяшю намъ, братцы, на-  
чашъ древнимъ слогомъ при-  
скорбную повѣспь о походѣ  
Игоря, сына Святославова!  
начашъ же сію пѣснь по бы-  
шамъ шого времени, а не по

(а) Игорь Святославичъ родился 15 Апрѣля 1151 года; во Святомъ Крещеніи нареченъ Георгіемъ; женился въ 1184 году на Княжнѣ Евфросиніи, дочери Князя Ярославъ Володимировича Галицкаго. Въ 1185 году имѣлъ онъ сраженіе съ Половцами, а въ 1201 году скончался, оставивъ послѣ себя пять сыновей.

и беспристрастных исследователей. Слово изучалось в широкой исторической перспективе; объяснялись многие явления языка Слова, которые казались непонятными в конце XVIII — начале XIX в.; сходные со Словом грамматические обороты, художественные образы были обнаружены в народной поэзии и во многих книжных произведениях, остававшихся ранее неизвестными. Высказываемые в самое последнее время некоторыми западноевропейскими учеными сомнения в подлинности Слова основываются на невежественном отсутствии живого ощущения древнерусского языка и древнерусской литературы, а главное на сознательном желании уронить ценность древнерусской культуры, представить ее неспособной к созданию произведений, столь высоких по своей художественности.

Изучение Слова в течение XIX в. было столь же плодотворно для Слова, сколько и для самой русской науки. Интерес, который оно возбудило к древнерусской литературе и к древнерусскому языку, способствовал изданию большого числа не известных дотоле памятников, стимулировал палеографические исследования и занятия историей русского языка.

Слово о полку Игореве изучалось представителями самых разнообразных литературоведческих школ, поэтами, лингвистами и историками; Словом занимался А. С. Пушкин, оставивший нам черновики своей подготовительной работы к его переводу; Слово переводили В. А. Жуковский, А. Майков и др.

Не было ни одного крупного русского филолога, который не писал бы о Слове. Всего в исследовательской литературе о Слове насчитывается до 700 работ.

Многочисленные переводы Слова на языки народов СССР говорят о широкой любви всего советского народа к Слову о полку Игореве. Изучение Слова в советское время было особенно плодотворно для установления той литературной и исторической обстановки, в которой оно родилось (исследования акад. А. С. Орлова, акад. Б. Д. Грекова, Н. К. Гудзия, Д. В. Айналова, М. Д. Приселкова, В. Ф. Ржиги и др.).

Слово о полку Игореве продолжило и расширило летописный жанр исторических повествований, внесло в него сильную струю народного поэтического творчества, а с другой стороны, углубило публицистические идеи летописи, придало историческому повествованию элегическую настроенность и драматизм.

Прозаическая летописная констатация необходимости единения для отпора степным кочевникам сменилась в Слове страстной агитационной речью, подчинившей себе формы народной лирики, ораторского искусства, воинской повести. Это различное отношение к своей теме и связанное с этим различие в стилистике особенно наглядно выступает при сравнении летописных рассказов (в Ипат. и Лавр. л.) о трагическом походе на половцев Игоря Северского в 1184 г. с рассказом Слова о тех же событиях.

Задача летописных рассказов — последовательный хронологический рассказ о походе. Идея защиты Русской земли, упреки русским князьям за неосторожность («не воздержавше уности, отворише ворота на Русьскую землю»),



идея воинской чести («оже ны будеть не бившися возвратитися, то сором ны будеть пуще смерти»; «пойдемь, но или умрем, или живи будемь, на единомь месте») находят себе в летописных рассказах отчетливое, но побочное выражение. В противоположность летописным рассказам, задача Слова целиком агитационная: «Смысл поэмы, — писал К. Маркс, — призыв русских князей к единению как раз перед нашествием монголов».<sup>1</sup>

Единая мысль, единая настроенность пронизывают все Слово от начала и до конца. Это — мысль о необходимости единения перед лицом вражеской опасности, это скорбь по поводу жесточайших бедствий русского населения от княжеских крамол и половецких нашествий. И основная идея произведения, и пронизывающее его настроение слиты здесь в единое целое. Призыв к единению слышится в Слове не только в непосредственных обращениях его автора к русским князьям или в его осуждениях княжеских крамол — с этим зовом соединено лирическое звучание всего текста Слова о полку Игореве.

Тот же призыв к единению слышится и во всех лучших произведениях второй половины XI—XII вв. Он звучит и в летописях — в киевской, владимирской, переяславской, и в черниговском Слове о князях, одновременном Слову о полку Игореве, и в некоторых житиях, и в повестях о княжеских преступлениях. Наконец, с идеей единения князей тесно связан популярный культ русских князей — братьев Бориса и Глеба.

Автор Слова не только с гениальной художественной силой выразил эту наиболее передовую идею своего времени, заслуга его и в том, что он эту идею понял так глубоко, с такой широтой и прозорливостью, как никто из его современников. Широта воззрений автора Слова о полку Игореве в том, что он сумел подняться над ожесточенной борьбой Ольговичей и Мономаховичей, с похвалой и сочувствием отзываясь о лучших представителях и тех и других. Прозорливость автора Слова о полку Игореве в том, что он идею единения впервые связал с идеей сильной княжеской власти и тем придал ей реальную весомость, указал конкретный путь к ее осуществлению. Не бессилие русских князей отмечает автор, а их силу и могущество. Великий Всеволод суздальский так силен, что мог бы «Волгу веслы раскропити, а Дон шеломы выльяти». Будь он на юге, «была бы чага по ногате, а кощей по резане». Галицкий Ярослав Осмомысл «высоко» сидит «на своем златокованном столе, подпер горы угорьскими своими железными полкы», заступил пути венгерскому королю, затворил ворота к Дунаю. Несчастье русского народа не в том, следовательно, что Русская земля бессильна и князья в ней слабы. Беда ее в том, что никто из русских сильных князей не слышит призыва «загородить полю ворота своими острыми стрелами».

Автор Слова о полку Игореве гордится Русью — «звоном славы» в Киеве, почетом от греков, немцев и венецианцев. Вместе с Игорем он гордится честью

<sup>1</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XXII, стр. 122.

русского оружия. Как и дружина князя, «жадная веселья», он в конце своего произведения провозглашает славу русским князьям. В нем можно угадать одного из тех сторонников сильной централизованной княжеской власти, которые были во Владимирской и Галицкой Руси XII—XIII вв.

Слово — песнь о Русской земле. Широкий замысел обращения ко всей Русской земле, ко всем русским князьям с призывом «загородить полю ворота своими острыми стрелами» определил и основные черты художественного построения Слова.

Слово о полку Игореве произведение удивительно цельное. Содержание и форма слиты в нем до нерасторжимого единства.

Небольшое по объему Слово (2875 слов; не многим больше  $\frac{1}{4}$  печатного листа) чрезвычайно обширно по своей теме. В зачине к Слову автор говорит, что он собирается вести свое повествование «от стараго Владимира [Мономаха] до нынешняго Игоря». Излагая историю несчастного похода на половцев князя Игоря, автор охватывает события русской жизни за полтора столетия и ведет свое повествование, «свивая славы оба полы сего времени», постоянно обращаясь от современности к истории, сопоставляя прошлое с настоящим. Автор вспоминает века Бояновы, годы Ярославовы, походы Олеговы, времена старого Владимира (Мономаха). В своеобразной перекличке, которую устраивает автор русским князьям, участвуют и его современники, и их предшественники.

Широкому хронологическому охвату повести соответствует и широта ее территориального охвата.

Едва ли в мировой литературе есть произведение, в котором были бы одновременно охвачены такие огромные географические пространства. Половецкая степь («страна незнаема»), Черное и Азовское моря, Дон, Волга, Рось и Сула, Днепр, Донец, Дунай, Западная Двина, Стугна, Немига, а из городов — Корсунь, Тмутаракань, Киев, Полоцк, Чернигов, Курск, Переяславль, Белгород, Новгород, Галич, Путивль, Римов и др., — вся Русская земля находится в поле зрения автора, введена в круг его повествования. При этом автор Слова не выключает Русскую землю из среды окружающих ее народов, заставляя прислушиваться к происходящим в ней событиям немцев и венецианцев, греков и моравов, а литовцев, финнов (хинове), половцев, ятвягов и деремялу (литовское племя) — непосредственно втянуться в ход русской истории.

Подобно Ярославу галицкому, прозванному за свой политический ум Осмомыслом, престол которого господствует над Венгрией и Киевом, откуда он обозревает происходящее, автор Слова видит Русь как бы с идеальной высоты. Огромность Русской земли подчеркивается им одновременностью действия в разных ее частях: «Девиди поют на Дунае, вьются голоса через море до Киева»; «трубы трубят в Новгороде, стоят стяги в Путивле»; «кони ржут за Сулою, звенит слава в Кieve» и т. д. Одновременно с походом Игоревя войска двигаются к Дону половцы «неготовыми дорогами», скрипят их немазаные телеги.



Таким же, как у него самого, обостренным слухом и зрением, способным прозревать пространство, наделяет автор и своих героев: когда Всеславу в Полоцке позвонят к заутрени рано у святой Софии в колокола, — он в Киеве уже звон слышал, а когда князь Олег вступал в золотое стремя в городе Тмутаракани, — тот звон слышал великий Ярославов сын Всеволод, а Владимир (Мономах) всякое утро уши себе закладывал в Чернигове.

Широкое пространство действия преодолевается гиперболической быстротой передвижения действующих лиц. Всеслав хитростями подперся на коне и скокнул к городу Киеву и коснулся копьём золотого престола киевского. Отскочил от него лютым зверем. В полночь из Белгорода скрылся в синей ночной мгле, на утро же оружием отворил ворота Новгорода, расшиб славу Ярослава... Всеслав-князь людей судил, князьям города уряжал, а сам в ночи волком рыскал: из Киева дорыскивал, до петухов, Тмутаракани; великому Хорсу (солнцу) волком путь перерыскивал. Святослав, словно вихрь, исторгнул поганого Кобяка из лукоморья, из железных великих полков половецких, и пал Кобяк в городе Киеве, в гриднице Святославовой.

В обширных пространствах Руси сами герои Слова приобретают гиперболические размеры: Владимира Святославича нельзя было пригвоздить к горам Киевским; галицкий Ярослав — подпер горы Угорские своими железными полками, загородив королю путь, затворив Дунаю ворота.

Такою же грандиозностью отличается и пейзаж Слова, всегда тем не менее конкретный и взятый как бы в движении: перед битвой с половцами кровавые зори свет поведают, черные тучи с моря идут... быть грому великому, итти дождю стрелами с Дону великого... Земля гудит, реки мутно текут, прах над полями несется. После поражения войска Игоря широкая печаль течет по Руси. Скачет Жля по Русской земле, мыкая в пламенном роге погребальный пепел.

Ветер, солнце, грозовые тучи, в которых трепещут синие молнии, утренний туман, дождевые облака, щекот соловьиный по ночам и галочий крик утром, вечерние зори и утренние восходы, море, овраги, реки составляют титанический фон, на котором разворачивается действие Слова. Широки и «космичны» образы плача Ярославны, противопоставленного автором шуму битвы в идеальной дали на Дунае. Ярославна в плаче обращается к ветру, веющему под облаками, несущему корабли по синему морю, к Днепру, который пробил каменные горы сквозь землю Половецкую и «лелеял» святославовы насады до Кобякова стана, к солнцу, которое для всех тепло и прекрасно, а в степи безводной простерло жгучие свои лучи на русских воинов, жаждою им луки скрутило, истомою им колчаны заткнуло.

В радостях и печалях русского народа принимает участие вся русская природа: понятие родины — Русской земли — объединяет для автора ее историю, «страны» (т. е. сельские местности), города, реки и всю природу. Солнце тьмою заслоняет путь князю — предупреждает его об опасности; Донец стелет бегущему из плена Игорю постель на зеленом берегу, одевает его теплым туманом, сторожит чайками и дикими утками.



Чем шире охватывает автор Русскую землю, тем конкретнее и жизненнее становится ее образ, в котором оживают реки, вступающие в беседу с Игорем, наделяются человеческим разумом звери и птицы; принимают участие в судьбе Русской земли даже стены городов, унывающие при поражении русского войска.

Слово проникнуто ощущением пространства и простора. Оно усиливается многочисленными образами соколиной охоты, участием в действии птиц, совершающих большие перелеты («не буря соколов занесла за поля широкие, не галочки стада бегут к Дону великому...», вороны несутся к синему морю и т. д.). Ветры и отдаленное море подчеркивают это ощущение.

Наблюдая Русскую землю с такой высоты, с которой он может охватить весь ее горизонт, автор тем не менее видит и слышит ее во всех деталях. Разнообразная наблюдательность автора Слова охватывает подробности походной жизни степных переходов, приемы защиты и нападения, детали вооружения, поведение птиц и зверей. Образ родины, полной городов, рек и многочисленных обитателей, как бы противопоставлен образу пустынной Половецкой степи — «стране незнаемой», ее яругам (оврагам), холмам, болотам и «грязивым» местам.

По точному определению академика А. С. Орлова, героем Слова является не какой-нибудь из князей, а вся «Русская земля, добытая и устроенная трудом великим *всего русского народа*. Храбрые полки Игоря идут „за землю Русскую“; это не просто воины, ратники, кмети, а „русичи“, дети Руси; углубление их во вражескую степь сопровождается горьким прощанием с родиной: „О Русская земля! уже ты за курганом“. Знаменитый дед Игоря, Олег, получил от автора Слова укоризненное прозвище „Гориславич“, вместо отчества своего „Святославич“, за то, что в усобицах своих усеял трупами родную землю и нарушил мирный труд ее „ратаев“ — пахарей. Княжеские распри и крамолы допустили „поганых со всех стран“ ходить „с победами на землю Русскую“. И вот все областные князья призываются к единению и общей защите Русской земли».

Таким образом, Слово о полку Игореве — это поэма о всей Русской земле, образ которой, ее природа и история широко и свободно очерчены автором. Только начало Повести временных лет с ее общим обзором географического расположения Русской земли может быть сближено со Словом в этом широком абрисе, но деловитое и последовательное описание Русской земли в Повести не имеет поэтической и элегической настроенности Слова, в нем отсутствует движение и характерное стремление к антитезам, к неожиданным сопоставлениям, к объединению в едином действии крайних пространственных пунктов, к поэтической непоследовательности и прерывистости повествования.

Широкий ландшафт Руси, в описании которого объединились лирика и публицистика, — основной агитационный прием автора Слова. Широта кругозора — идейного и художественного — основа его мироощущения.

Художественная принадлежность Слова определяется самим автором по-разному: как «повесть», как «песнь» и как «слово». Ни один из этих терминов не имел на Руси точного значения; вот почему автор Слова мог назвать свое



произведение и тем, и другим, и третьим, не вступая в противоречие с самим собой и с литературной традицией своего времени. Но дело не только в этом. Подобно многим гениальным произведениям, Слово о полку Игореве выходит за пределы жанровых традиций своего времени, как выходят, например, за их пределы Божественная комедия, Евгений Онегин, Мертвые души, Война и мир. Вот почему бесплодны попытки точно и узко определить «жанровую природу» Слова — то как «былину XII в.», то как произведение светского красноречия, то как воинскую повесть и т. д. Как только мы отвлечемся от тех деталей, к которым стремятся приковать наше внимание исследователи, и взглянем на все произведение в целом, так скоро убедимся в том, что Слово о полку Игореве не могло исполняться как былина, не могло быть произнесено в торжественной обстановке перед князем как ораторское произведение, не было предназначено для включения в летопись как обычная воинская повесть. Легкость, с которой подыскиваются параллели к Слову во всех видах книжного и народного творчества, больше всего свидетельствует против того, что оно принадлежит к одному какому-либо жанру.

В Слове соединено историческое повествование с героической лирикой. Элементы стилистики воинских повестей, летописные термины объединены в Слове с приемами народного эпоса и лирики. От летописи и воинской повести зависит военная терминология Слова: «вступить в стремя», «копие преломити», «испити шоломом Дону» (как символ победы), «исполниться ратного духа», обычная рыцарская мотивировка действий дружины: «ищучи себе чти, а князю славы» и многие другие. В Слове ярко выражены отдельные элементы ораторской стилистики (например, обычные у проповедников того времени гиперболы) и витийственное красноречие учительной литературы (книжные параллели к отдельным местам Слова были указаны у митрополита Илариона, в апокрифическом Слове о Лазаревом воскресении и др.). Народная стихия Слова выражается в отрицательных метафорах («Немизе кровави брезе не бологомь бяхуть посеяни, посеяни костью руских сынов»), в постоянстве эпитетов (чистое поле, серые волки, острые мечи, синее море и др.), в отдельных характерных для народной поэзии образах (особенно многочисленных в плаче Ярославны и в сне Святослава), в аллитерациях, в гиперболах и в сравнениях.

Однако автор освежает традиционные книжные и фольклорные мотивы, давая им неожиданное освещение, углубляя и продолжая их в контексте. Так, например, обычную метафору воинских повестей «летяху стрелы как дождь» автор оживляет новым ее применением: тучи идут с моря — итти дождю стрелами.

Это соединение элементов народного творчества с приемами ученой книжной литературы как нельзя лучше соответствует национальному значению Слова, его народному содержанию и, во всяком случае, не является случайным стилистическим решением автора. В зачине Слова автор показывает себя сознательным и глубоким стилистом; он размышляет о том, какой характер придать повествованию: «начати же ся той песни по былинам сего времени» или

«по замыслению Бояню»; в некоторых случаях он стилизует поэтические приемы последнего.

Важною особенностью Слова, которая может служить признаком связи его одновременно с книжной поэзией и русским фольклором, являются детали строения, сближающие его со стихотворными произведениями. В Слове можно установить строфы и рефрены, ритмическую организацию речи и музыкальность ее звучания.

Но автор Слова о полку Игореве вовсе не стремился к соединению особенностей разных жанров — книжных и фольклорных, к тому, чтобы создать произведение, в равной мере чуждое всем литературным и фольклорным формам. Рассматривая Слово о полку Игореве в целом, мы убеждаемся в преобладании в нем лирического начала: это произведение лирическое по преимуществу. Грандиозная общественная и эпическая тема разрешена в нем средствами лирики. К Русской земле обращена вся полнота личных чувств его автора, весь эмоциональный подъем его. И именно эта лирическая взволнованность Слова, а не элементы стихового ритма, не элементы рифм и аллитераций, делает Слово произведением поэтическим.

Попытки решить вопрос о сословно-классовой принадлежности автора, о месте его происхождения и составлении Слова до сих пор были бесплодны. Но ясно одно: был ли он киевлянин или черниговец, воин или придворный, он прежде всего был *русским* образованным человеком, хорошо знакомым с книжной литературой своего времени и устным народным творчеством, для которого в равной мере были дороги интересы различных княжеств, умело объединяемые им в свободном от феодальной ограниченности повествовании.

Влияние Слова было весьма велико для всего последующего развития русской литературы. Следы знакомства со Словом найдены в пограничном Пскове в начале XIV в. (цитата из Слова в Псковском апостоле 1307 г.). В начале XV в. подражание Слову отчетливо заметно в цикле сказаний о Куликовской битве. В начале богатого военными событиями XVI в. Слово снова привлекает к себе интерес и переписывается во Пскове (или в Новгороде).



На грани двух эпох, в самой преддверии татаро-монгольского нашествия, стоит своеобразное произведение ростово-суздальской литературы, соединившее в себе некоторые особенности литературы домонгольского периода с зачатками новых политических веяний и новых литературных вкусов,— Моление Даниила Заточника.

Моление принадлежит к числу наиболее загадочных памятников древней русской литературы. Неясен прежде всего адресат этого произведения: ученые относят отдельные редакции Моления то к Юрию Долгорукому (1108—

1157), то к Ярославу Владимировичу (1182—1199), то к Андрею Владимировичу Доброму (1102—1141) и т. д. Неясна также и сама личность Даниила: одни из исследователей считают его дворянином, другие — дружинником князя, третьи — холопом. В последнее время была высказана весьма вероятная мысль, что Даниил не имел устойчивого социального положения. Не решен вопрос и о том, был ли Даниил вообще заключен, имеет ли Моление под собою какую-либо историческую основу, было ли двое Даниилов или один. Так же разнохарактерны и оценки литературных достоинств памятника. Одни из исследователей видели в нем «нескладную болтовню», другие высоко ценили композиционную ясность и художественную стройность Моления.

Лишь адресат одной из редакций Моления может быть указан точно: это князь Ярослав Всеволодович, сидевший в Переяславле-Залесском на княжении с 1213 по 1236 г.

Моление представляет собою обращение, «мольбу» некоего Даниила к князю, чтобы он взял его к себе на службу. Даниил восхваляет ум и книжное образование, различными историческими и бытовыми примерами доказывает необходимость для князя иметь мудрых советников, а затем всячески стремится показать свою начитанность и хитроумие. Прославляя князя, Даниил вместе с тем пытается разжалобить его ссылками на свое несчастное положение. Можно предположить, что Даниил был заточен на озере Лаче, откуда и обращал к Ярославу свое Моление. В одном месте Даниил ссылается на свои неудачи в ратном деле. Были ли, однако, эти неудачи Даниила реальными или в указании на них следует видеть обычную в средневековье манеру возвеличения властителя путем контрастного сопоставления с собою — остается неясным.

Основная часть Моления состоит из своеобразных, ритмично организованных строф, с ассонансами и общим повторяющимся обращением в начале: «княже мой, господине». Строфы распадаются на излюбленные в средневековой литературе афористические изречения, пословицы и небольшие рассуждения. В подборе книжного материала Даниил выказывает себя широко образованным писателем, человеком из утонченной литературной среды, который не боялся остаться непонятым. Ему знакомы библейские книги; он цитирует Псалтырь, книгу Иова, Евангелие, Стословец Геннадия; знает Изборники Святослава, Пчелу, повесть об Акире Премудром, летоиси, произведения Илариона, народные пословицы («безумных бо ни куют, ни льют, но сами ся ражают», «ни птица во птицах сычь; ни в зверех зверь еж; ни рыба в рыбах рак; ни скот в скотех коза...» и т. д.). Из западных или византийских сочинений попали в Моление Даниила описания цирковых игр и игр жонглеров перед королями и царями. затем некоторые бытовые реалии, ему знаком социальный уклад западноевропейских стран: в этом убеждает обильно рассыпанная в Молении западноевропейская социальная терминология: «рытари» (рыцари), «магистрове» (магистры), «дуксе» (герцоги), «король» и др.



Если иногда трудно угадать в упоминаемых в Молении реалиях конкретные явления русской жизни, то общая тенденция и идеологическая направленность этого произведения вполне конкретны: они связываются с новым соотношением социальных сил на северо-востоке Руси, борьбой княжеской власти с боярством. Восхваляя Ярослава, Даниил ясно заявляет себя сторонником сильной княжеской власти, противником бояр и черного духовенства. Многочисленными афоризмами Даниил стремится обосновать неограниченность власти князя, подчеркивает его значение: «Женам глава муж, а мужем князь, а князем бог», «орел птица — царь надо всеми птицами, а осетр — над рыбами, а лев — над зверми, а ты, княже, над переславцы. Лев рыкнет, кто не утрашитя; а ты, княже, речеши, кто не убоится», «гусли строятся персты, а град нашъ твоею [князя] державою» и т. д. «Лучше бы ми вода пити в дому твоем, — обращается Даниил к Ярославу, — нежели мед пити в боярстем дворе; лучше бы ми воробей испечен приимати от руки твоея, нежели боранье плечо от государей злых». В одной из редакций эта антибоярская тенденция выражена еще ярче: «Конь тучен, яко враг сапает на господина своего; тако боярин богат и силен смыслит на князя зло».

В заключительной части Даниил обращается к богу с просьбой: «Силу князю нашему укрепи» и повторяет слова митрополита Илариона, как бы непосредственно вводя нас в обстановку надвигающегося нашествия монголов: «Не дай же, господи, в полон земли нашей языком [народам], незнающим бога, да не рекут иноплеменницы: где есть бог их...».

Эти заключительные строки последнего из произведений домонгольской литературы, возвращающие нас к ее истокам — Слову о законе и благодати Илариона, выражают вместе с тем излюбленную идею русской литературы, X — XIII вв., золотой нитью проходящую через все основные ее произведения: идею независимости Родины. К этому клонились призывы летописи к борьбе с половцами, призывы Слова о полку Игореве к единению перед лицом внешней опасности и, наконец, обращения Моления к утверждению сильной княжеской власти.